

Людмила Дмитриевна Шаховская

Набег этрусков



Людмила Дмитриевна Шаховская

Набег этрусков

Scan by Ustas; OCR&Readcheck by Zavalery

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=153979

*Шаховская Л. На берегах Альбуны. Художник Л. Хачатрян: ФОСКОМ,
ДИАЛОГ; М.; 1994
ISBN 5-900168-18-2*

Аннотация

Большинство произведений русской писательницы Людмилы Шаховской составляют романы из жизни древних римлян, греков, галлов, карфагенян. Данные романы описывают время от основания Рима до его захвата этрусками (500-е г.г. до Н.Э.).

Содержание

От составителя	4
ГЛАВА I	10
ГЛАВА II	19
ГЛАВА III	29
ГЛАВА IV	36
ГЛАВА V	42
ГЛАВА VI	47
ГЛАВА VII	60
ГЛАВА VIII	67
ГЛАВА IX	77
ГЛАВА X	90
ГЛАВА XI	94
ГЛАВА XII	102
ГЛАВА XIII	108
ГЛАВА XIV	117
ГЛАВА XV	123
ГЛАВА XVI	133
ГЛАВА XVII	140
ГЛАВА XVIII	148
ГЛАВА XIX	155
ГЛАВА XX	162
ГЛАВА XXI	169
ГЛАВА XXII	175

Людмила Дмитриевна Шаховская Набег этрусков

От составителя

Большинство произведений русской писательницы Людмилы Дмитриевны Шаховской, совершенно незнакомой нашему читателю, составляют романы из жизни древних римлян, греков, геллов, карфагенян. По содержанию они представляют собой единое целое – непрерывную цепь событий, следующих друг за другом. Фактически ею в художественной форме изложена История Древнего Рима.

Книга, предлагаемая вниманию читателей, является как бы первым томом Собрания сочинений Шаховской. Но мы в данном издании не намерены нумеровать выходящие книги. Этому есть несколько причин. Первая – внешняя: поскольку издание рассчитано на длительный срок, и участвовать в его выпуске будет несколько типографий, то может случиться, что по техническим причинам какие-то книги задержатся с выходом, другие, наоборот, выйдут раньше. Согласитесь: приобретя, к примеру, 1-й, 7-й и 12-й тома, и не имея информации о их выпуске или невыходе, читатель будет испыты-

вать некий дискомфорт. Вторая причина – внутренняя: издание построено по хронологическому принципу, а материал для него изыскивается в «глуби веков». Процесс подготовки, редактирования и т.п. осуществляется по мере поступления первоисточников. Сейчас в работе около 15 романов на эту тему, а всего их у писательницы свыше двадцати.

Поэтому мы не собираемся ни стеснять читателей нумерацией томов, ни лишать себя возможности иногда издавать что-нибудь подобное – промежуточное или параллельное в хронологическом значении. С этой целью все последующие книги отредактированы таким образом, что в начале их будут указаны годы происходящих событий, чтобы читатели имели возможность разобраться, в какой последовательности им знакомиться с творчеством Людмилы Шаховской, если они хотят придерживаться хронологического порядка чтения.

С этой же целью здесь приводится перечень романов не по времени их написания, а по ходу действия, придерживаясь хронологии согласно принятому в исторической науке разделению эпох.

ОТ ОСНОВАНИЯ РИМА ДО ЗАХВАТА ЕГО ЭТРУСКАМИ

На берегах Альбунея... действие: 750 г. до н. э.

При царе Сервии... 578

Вдали от Зевса...

Набег этрусков... 536-500

Тарквиний Гордый...

Три последних романа составляют серию бытовых картин, сгруппированных вокруг личности Турна Гердония.

ПЕРВЫЕ ВРЕМЕНА РЕСПУБЛИКИ

Сивилла – волшебница Кумского грота 510

Данное произведение как бы закрывает предыдущую тему, конкретно к этой эпохе относится лишь первая часть романа.

По геройским следам... 362

ПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ И ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА РЕСПУБЛИКИ

Карфаген и Рим... 213-200

Над бездной... 79-62

Жребий брошен... 62-50

Эти романы не имеют общности в фабуле ни с предыдущими, ни с последующими, но два последних из них тесно связаны между собой и отчасти с романом «Нерон».

ЭПОХА КЕСАРЕЙ

Молодость Цезаря Августа... 45-38

Под властью Тиверия... 4 г. до н. э. – 38 г. н. э.

Эти романы связаны между собой общностью фабулы, а исторической стороной слиты с романом:

Нерон... 54-68 г. н. э.

Роман слегка касается фабулой предыдущих и относится к «Над бездной» в плане воспоминания потомками своих предков, как сравнение быта помещиков и крестьян той и

другой эпохи.

ПЕРВЫЕ ВРЕМЕНА ХРИСТИАНСТВА

Весталка... 77-85

Ювенал... 85-100

Потомки героев... 96-109

Серебряный век... 109-119

Кесарь Адриан... 119-124

Конец римской доблести... 124-138

Римляне в Африке... 136-140

Последние три романа имеют общих героев фабулы; тем, кто придает этому значение, следует читать их в вышеозначенном порядке.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

Бесчинства преторианцев и гладиаторов от эпохи Марка Аврелия и дальше до слияния римской Истории с византийской, галльской, сирийской и других стран, где от перемещения центра действия расплывается интерес в событиях, относящихся к Риму уже косвенно.

Сила духа... 138

Любимец Кесаря... 155-192

По праву сильного... 192-217

Первый из указанных романов, хоть и относится по времени к гонениям эпохи Кесаря Адриана, но совершенно отстоит от нее в смысле происходящих событий. Два последних произведения не имеют с предыдущим общей фабулы, но тесно связаны ею между собой.

Особняком в ряду исторических произведений Шаховской стоит роман «Лев-победитель», относящийся к 6-му веку нашей эры. Никакой связи с римской Историей он не имеет. Интересен тем, что является первым в русской литературе романом из Абиссинийской жизни.

Намерены мы показать и другую сторону творчества Людмилы Шаховской, в частности, опубликовать роман «Женщины моего века», состоящий из двух различных серий рассказов, охватывающих по времени вторую половину прошлого столетия.

Одним словом, наших читателей ждет знакомство с интересным и неординарным автором. И я им искренне завидую: ведь им еще только предстоит это прочесть.

Борис АКИМОВ



ГЛАВА I

Царская тризна. – Состязание борцов

Римский царь Сервий Туллий справлял тризну по своему умершему, только что похороненному зятю, мужу дочери¹.

Перед царским склепом на просторной луговине сада происходил многолюдный пир.

Сумрачно сидели² римские вельможи, одетые в траур коричневого цвета, вокруг столов под навесом огромной палатки.

Седовласый царь насупил густые брови и низко потупил кудрявую голову, темя которой, вместо тоги или диадемы, теперь было покрыто четырехугольной шапочкой черного цвета с медным острием на вершине этого усеченного конуса.

Лицо царя было угрюмо; руки раздраженно теребили темную ткань, из какой состояла вся его одежда.

С ним рядом сидел верховный жрец Юпитера, фламмин Виргиний Руф, тоже имевший головным убором черную ша-

¹ О причинах его смерти сказано в наш. предыдущ. рассказах «При царе Сервии» и «Вдали от Зевса!...» Для тех, кто их не читал, эта глава составляет разъяснительное предисловие.

² Обычай лежать за трапезой ввелся у римлян много позже.

почку, но другого образца, – круглую, с пуговкой, от которой висела льняная лента.

Виргинию Руфу было уже за 70 лет. Одна его дочь успела умереть, состарившись в весталках седовласою жрицей, давно отрешенною от жертвенника на покой за выслугою срока, другая дочь умерла тоже не молодою, замужем за Вулкацием, ставши матерью Марка, дружного с Тарквинием, зятем царя.

Сын Руфа убит в одной из разных войн и внутренних смут, каких в Риме тогда было немало, но до этого он успел жениться, вскоре овдовел, и оставил после себя Руфу второго внука, которого звали, как и деда, Децим Виргиний Руф, лишь с прибавкою Младший.

Участвуя в царской тризне, Фламин старался казаться спокойным и серьезным с подобающею его сану величавостью, но глаза его украдкой сверкали ехидством, а губы осторожно ухмылялись, как будто он рвался, но не решался, высказать тайную мысль:

– Без меня вы, добрые люди, тут ничего не поделаете, не обойдетесь.

И старый жрец временами бросал мимолетные, но выразительные взгляды на царского зятя Люция Тарквиния, сидевшего недалеко от него, через два каменных кресла, которые находились у стола пустыми, потому что занимавшие их в начале пира тризны вельможи, – зять Фламина Руфа по дочери Вулкаций и его друг фламин Януса, Тулл Клуилий, – не сошедшиеся во мнениях о причине смерти царского зятя

Арунса, в пылу горячего спора слишком обильно чувствовали душу умершего юноши винными возлияниями.

Разглагольствуя с отчаянной жестикуляцией, эти охмелевшие люди почувствовали, что им в палатке стало душно, тесно, поднялись с каменных сидалищ, отошли ко входу, и прислонились там к поддерживавшим навес деревьям, каждый призывая в бессвязном бормотанье свидетелями верности своего мнения богов, какие помещены тут на время пира в виде грубых статуэток из пестро-раскрашенной глины.

Спор задорных, выпивших лишнее, стариков с минуту на минуту разгорался хуже, грозя закончиться дракой, но главные участники тризны помешали этому: – все вельможи с царем встали из-за стола, вышли из палатки, и приказали начать состязание борцов, – на этот раз не гладиаторов, а выставленных частными людьми, каждым от себя, из усердия к памяти умершего царевича, безразлично, – рабов или свободных³.

Отведенное для состязания место за склепом у садового забора ярко осветили кострами и факелами, а усевшимся на ковры и камни зрителям завершительного акта тризны подали угощение из разных плодов и медовых сладостей.

Все шло обычным в таких случаях порядком, по правилам, заведенным исстари. Бился невольник Вулкация с

³ В ту эпоху римские похороны и тризна имели весьма простую обстановку. Более роскошные церемонии этого рода, при полном развитии римского культа и цивилизации, нами описаны в ром. «Над бездной» и «Нерон».

невольником Клуилия; бился невольник Турна с невольником Тарквиния; такое состязание поручали парам, о которых знали, что эти люди между собою не враги, чтобы они бились без злобы.

Третьей парой вышли люди благородного происхождения, – внук Руфа Виргиний и сын Скавра Арпин.

Эти юноши были между собой задушевные друзья; их старшие – зачатые, фамильные враги.

Арпин был силач-богатырь массивный фигурой; это убеждало почти всех зрителей состязания, что победить его в бою на старинных каменных секирах сравнительно слабый Виргиний может только искусством, за которое его дед почти ручался.

Каменное оружие у римлян этой эпохи из обиходного употребления уже совсем вышло, но его пускали в дело изредка, как нечто особенное: каменными ножами наносили первый «священный» удар жертве на алтаре при заклинании; каменными секирами дрались из желания выказать необычайную силу или ловкость.

Это практиковалось много веков после введения металлов в обиход жизни, как след, отголосок, древней эпохи «каменного века».

Важничая раньше времени, еще до его формального провозглашения правителем (*praefectus urbi*), по случаю набега этрусков, Тарквиний уселся, подбоченясь, на толстом бревне, покрытом ковром, в таком месте, где толпились его сто-

ронники, среди которых задорный фламин Януса, Тулл Клу-илий продолжал бесконечную перебранку со своим нетрезвым другом, сенатором Вулкацием, в промежутках говоре-нья не переставая подогревать горячий спор из винной чаши.

Переглянувшись, молча давая взаимный сигнал к нача-тию поединка, борцы сошлись тихим шагом, опустив секи-ры, приветствуя ими друг друга, медленно, как бы лениво, приподняли, щелкнули слегка одною об другую, снова опу-стили, и разошлись далеко, обменявшись местами.

Великий понтифекс Эмилий Скавр спокойно смотрел и указывал царю все подробности движений состязающейся пары, ожидая ярой схватки; он любил своего богатыря-Ар-пина, рожденного ему от пленницы самнитки, и был уверен в его победе, вопреки предположениям Фламина Руфа, уве-рившего, что его внук Виргиний искуснее.

Предположение Великого понтифекса оправдалось, но к общему горю, не в том виде, как он желал.

Две-три минуты борцы пристально измеряли глазами пространство между ними и осматривали друг друга; потом они ринулись бегом во всю прыть и сшиблись.

Застучал камень об камень, искры снопами посыпались с секир, но эти грубые, толстые, неуклюжие орудия не размы-кались, сцепившись одно с другим, потому что борцы-друзья старались не наносить ударов, а лишь победить, одолеть.

Пыль поднялась столбом, так что зрителям стало трудно различать холщевое платье Арпина от овчин, в которые пе-

реоделся Виргиний для боя, жалея нарядный костюм.

Издавая сиплое дыхание, борцы разошлись для передышки перед новой ошибкой.

– Виргиний одолеет Скаврова сына, увидишь! – молвил Вулкаций Клуилию, начиная с ним не менее горячий спор на новую тему, потому что ему надоело говорить про смерть Арунса.

– Куда этому щенку против такой дубины! – возразил Фламин Януса, с презрительной миной взглянув на племянника Вулкация.

– Ну, вот!..

И они, волнуясь зрелищем, принялись опять спорить чуть не до драки.

– Стало быть, ты не видал уменя этой грубятины, рожденной Скавру от пленной самнитки!.. Сын-невольник покажет себя на славу перед отцом-господином!.. Не посрамится!.. Увидишь!..

В эту минуту толпа зрителей более молодых и поэтому не столь важных, загудела похвалы искусству Виргиния, подбывая его не посрамить доверие своего дедушки, но вдруг общее настроение переменялось.

Раздались крики испуганных:

– Берегись!.. Берегись!.. Арпин победил.

Зрители в ужасе кинулись бежать, сразу не сообразив, что такое случилось, а лишь увлекаясь примером двух-трех человек, стоявших там, где произошла катастрофа.

Хорошенько раскачавшись, борцы ринулись друг к другу со всех ног бегом так быстро, что зрителям показалось, будто они миновали один другого с разбега, но вдруг нечто страшное, тяжелое, взвилось на воздух, перелетело через головы передних зрителей, ударилось об дерево над тем местом, где на бревне сидел Тарквиний, отпрыгнуло деревянной рукоятью, не вонзившись в крепкий ствол, и упало куда-то, на кого-то, вызвав отчаянный, предсмертный стон.

Это была секира Виргиния, которую Арпин вышиб у него из рук и закинул ловким маневром через свою голову, не размышляя о последствиях такого способа победы, лишь бы оправдать доверие господина, бывшего и отцом его, – доказать, что у него богатырская сила соединена с искусством умелого борца, – что он вовсе не «дубина» не «грубятина», как он слышал, его порочили зрители.

– Арпин победил!.. Самнит победил!.. Скавр победил Руфа!.. – завопили увлекшиеся зрители диким голосом и огромною толпою, перемешавшись без чинов и рангов, патриции, плебеи, пролетарии, рабы, сбежались к центру луговины, где юный Виргиний качался, едва стоя на ногах, прося дать ему какую-нибудь опору, поддержать готового лишиться чувств.

Виргиний стонал, схватившись за свою голову обеими руками; по его пальцам текла обильная струя крови.

– Самнит, разбей, раздробь голову этруску!.. – кричали некоторые из зрителей, на том основании, что матью Вир-

гиния была этрурианка из родни Тарквиния.

Разгоряченные винными возлияниями царской тризны, эти зрители, бывшие из числа отъявленных противников Руфа, видевшие в его внуке, по материнскому происхождению, этруска и оттого ненавидевшие, как и Тарквиния со всею роднёю, они в эти минуты забыли, что Виргиний, по отцу и деду, кровный римлянин, свободный, благородный, сенаторского звания юноша, тогда как Арпин – невольник, незаконного происхождения сын Скавра от пленной самнитки.

Эти сторонники великого понтифекса толкали Арпина к раненому, своими руками заносили в его руке секиру над внуком Фламина, забыв, что тот был бы безусловно казнен, если бы это сделал.

Арпин не в силах был противиться толпе, ошеломленный случившимся, уставший в бою. Туман застилал его взоры, голова кружилась; мысли путались; он видел и слышал все происходящее, точно во сне, – нечто дикое, невероятное, свойственное только той полукультурной эпохе.

Доселе скрытая, сдержанная могучею силою воли римского духа ненависть между двумя жрецами, из которых один был в родстве с самнитами, другой с этрусками, племенами, враждебными и Риму и между собою, – эта ненависть сторонников понтифекса Скавра и Фламина Руфа, теперь, под влиянием выпитого вина и зрелища борьбы, прорвалась наружу всесокрушающим ураганом страстей горячих людей, долго крепившихся от выражения своих мнений.

Руф и Скавр молчали, угрюмо насупившись; преклонный возраст сдерживал их порывы, тогда как их приверженцы готовились к кровавой многолюдной схватке на садовой луго-вине уже не ради чествования тени умершего, а для прославления своих покровителей, patres, глав рода, какими были Руф и Скавр, каждый для своих ближних.

Про смерть Арунса все даже забыли. Толпа шла на толпу; одни подбивали Арпина убить его друга Виргиния, а другие защищали того, грозя убить раба, победившего патриция, нанесшего этим позор роду Виргиния Руфа старшего.

Великий понтифекс Эмилий Скавр бледный, дрожащий, с трудом протеснился сквозь пьяную ватагу, вырвал из руки Арпина секиру, задыхаясь старческой грудью от волнения, и произнес хриплым голосом:

– Арпин!.. Сын мой!.. Что ты сделал!.. Лютая казнь грозит тебе немедленно от родни Руфа по праву кровомщения. Беги!.. Беги!.. Ведь ты убил его зятя Вулкация.

ГЛАВА II

Меткий удар

Толпа чуть не подравшихся римлян оторопела, услышав вырвавшееся признание верховного жреца, что Арпин – его сын от любимой рабыни, – хоть это и знали все давно.

Никто не смел задержать невольника, которого обнимал с плачем верховный жрец, и в толпе раздались даже сочувственные возгласы, сбивавшие Арпина с последнего толка.

Случайное, совершенно не преднамеренное убийство, тем не менее, страшное дело, хоть и не считается по преступлению равным умышленному. Об этом, обыкновенно, долго толкуют, ужасаются, но находятся люди, которые принимают взвешивать разные мелкие стороны события, и наконец, все сваливают на судьбу.

Язычники еще полукультурной эпохи, римляне имели на все такое своеобразный взгляд: у одних симпатичный юный Арпин, имевший в своем характере все начатки доблести духа, слишком ярко затмевал задорного, пьяного Вулкация, развратившего собственного сына: другие держались тут партийного взгляда семейной вражды Скавра с Руфом.

– Что Вулкаций?.. Что?.. – раздавались возгласы со всех сторон.

– Так ему и надо!.. – слышались ответы. – Уж очень

неосторожно совался к борцам!..

– Вот и поплатился за любопытство, попался под топор!..

– Хорошо еще, что не внук Руфа хватил-то его!.. Дядю-то своего...

– Ай, да Арпин!.. Как он его ловко шаркнул!.. Наметить нарочно нельзя лучше этого.

– И не прямо, заметь, а назад, через себя, через свою голову!..

– Весь череп раскрыт на совершенно равные половинки, точно яблоко.

– А Руф-то настолько вот от него был, тут же.

Под этот говор никто не заметил, как фламмин, покинув своих двух внуков, – раненого Виргиния и рыдающего об отце Марка, – отправился торопливо домой готовить комнаты и делать разные другие распоряжения для приема тела убитого зятя, приказав мимоходом слуге известить Виргиния, чтобы он, когда перевяжет свою рану и отдохнет, отправляясь в деревню, куда командирован дедом раньше, непременно заехал домой, за новыми инструкциями, так как будут неожиданные похороны, – Виргиний должен лично отобрать в деревне вино, скот, фрукты, масло и мн. др. нужное к пиру трапезы.

У выхода из сада фламмина остановил погнавшийся за ним Тарквиний и кто-то из слуг убравших остатки трапезы, слышал, как они перекинулись несколькими фразами, дошедшими в его уши отрывками.

– Такой удобный случай не повторится, если упустишь его, царевич.

– Но твой зять...

– Не до него мне! Я служу тебе, а не родне моей.

– И если мы теперь...

– Те все погибнут... пойми... кровомщенье...

– Арпин сбежит.

– Пусть! Тем лучше... будет лишний предлог... я сейчас пошлю моего внука в деревню... там... колдунья Диркея...

– Пошлешь, когда убит его отец?

– Пошлю не Марка, а Виргиния; он успеет вернуться к похоронам дяди.

– Виргиний не ловок.

– То, что я поручу ему, ловкости не требует.

Арпин, между тем, сквозь расступившуюся перед Скавром толпу увидел распростертое на земле тело Вулкация-старшего, еще полуживое, дергающееся то рукой, то ногой, в последних конвульсиях смерти. Лица у него не было; оно превратилось в бесформенную массу костей, крови и мозга.

Ничуть не радуясь своей победе, с омраченным челом, опустив взоры в горькой думе, Арпин уныло вступил в царский дом вместе с продолжавшим его обнимать великим понтифексом; они пришли не в атриум, куда сошлись уже некоторые из вельмож для обсуждения случайной катастрофы, а другим крыльцом, в пристройку, где жил Тарквиний с

его доброю женою, царевной, под защиту которой Скавр намеревался отдать своего любимца, уверенный, что любимая царем больше ее сестры, гордой вдовы Арунса, эта женщина в течение следующих дней уприсит своего отца запретить кровомстителем за Вулкация, – Бибакулу, Руфу, и другой их родне, – искать «раба», если тому удастся скрыться от них.

Виргиний, еще ничего не зная о гибели пьяного дяди, сидел на полу подле таза с водою, тихонько охая; старая рабыня царевны, промыв рану, обвязывала ему голову.

Великий понтифекс, оставив своего любимца с его другом, ушел к царевне в другие комнаты.

– Теперь ты мне настоящий брат! – проговорил Виргиний, взглянув на вошедшего юношу. – Поди сюда, Арпин! Не думал я прежде, что ты при твоей силе, такой искусный боец; ты славно хватил меня по лбу, – хорошо, что не на смерть!

– Это вышло совершенно случайно, – ответил Арпин со вздохом, – я вовсе не хотел бить тебя, Виргиний, да моя медвежья неловкость так устроила. Я старался только выбить из твоих рук секиру и забросить, забывши, что здесь мы не в лесу, не в поле, – она может в кого-нибудь попасть. Мне горько, Виргиний, если ты сердисься за царапину; я испортил тебе лоб.

– Ничуть не сержусь за такой пустяк... что мне до моего лба! – Виргиний горько усмехнулся, – если бы ты, Арпин, исцарапал мне все лицо, хуже не было бы, как не было бы лучше, если бы лоб уцелел от твоей секиры. Амальтея будет

любить меня и таким, но женою не сделается никогда, никогда, – ни Турн мне ее не отдаст, ни дед взять не позволит, ни ее родители не станут считать меня зятем. Пока ее не отдадут кому-нибудь другому на рабское сожитие, для нас возможна одна тайная любовь, – contubernium.

– Разве мало кроме этой Амальтеи поселянок и невольниц, с которыми ты можешь развлекаться? Стоит ли горевать о ней и ставить себя в разные незавидные положения, вроде волчьих ям и лисьих капканов, между твоим дедом и Турном, заклятыми врагами, лавируя по подобию аргонавтов, без обладания Язоновой ловкостью. Эх, Виргиний!.. Я на твоём месте...

– Влюбился бы в овдовевшую Туллию, как Брут и мой двоюродный братец, Вулкаций?!

– Ну хоть и не в нее... я терпеть не могу эту злую, гордую царевну; ее сестра, жена Тарквиния, несравненно лучше ее во всех отношениях и если бы я когда-нибудь позволил себе влюбиться, то...

– В эту царскую дочь?

Арпин не ответил, сдержав, затаив глубокий вздох.

– Умерший Арунс, все говорят, любил ее, – продолжал Виргиний после некоторого молчанья.

– Что нам до этого?! – возразил Арпин, стараясь казаться равнодушным.

– Брут подозревает...

– Подозревает, – он это говорил моим господам, – будто

жена отравила Арунса из ревности к своей сестре.

– Это глупости!.. Брут всему Риму известен за чудака, каких мало.

– Он не меньше Вулкация влюблен в Туллию.

– Знаю... но, овдовевши, Туллия не пойдет вторым браком ни за Брута, ни за Вулкация... эх, мой дед много говорил с Марком про нее!.. Они не знали, что я слушаю, притаившись в другой комнате... Туллия затеяла не то... ах!..
Страшное!..

– Что?..

– Дед говорил намеками; я всего не понял... между Вулкацием и Брутом разница в том, что чудака, не добившись взаимности, оклеветал Туллию в безвременной смерти мужа, а Вулкаций старается забыть ее.

– С кем? С твоею Амальтеей?

– Амальтея до сих пор не знает, что преследовавший ее невольник Вераний был патриций фамилии Вулкациев. Я ничего не сказал ей.

– Я слышал, будто дед намеревался послать тебя сегодня в деревню.

– Да... ради суших пустяков... ах, эта деревня! Не будь там Амальтеи, я не мог бы тебе выразить, до чего эта деревня надоела мне!.. Старуха, которая перевязала мою рану, говорила, что мне два дня будет худо от твоей царапины, а дед... разве он на это посмотрит?! Я должен сейчас ехать; старуха говорила, что даже повозка давно ждет, – еще с самого на-

чала нашего поединка.

– Возьми меня с собой, Виргиний, если не сердишься. Господин велел мне скрыться; я, вероятно, уйду на время в Самний, к моей матери.

– Зачем? Неужели мой дед к Скавру придирается за мою рану?

– Нет, дело хуже: когда я забросил твою секиру, она попала в Вулкация, твоего дядю.

Виргиний засмеялся.

– В Вулкация?! Ты в него попал моею секирой!.. Судьба!.. Давно мне хотелось поподчевать дядюшку-забияку чем-нибудь вроде обуха за его сплетни обо мне, доносы деду, всякие каверзы, клеветы, напраслины. Ты попал в Вулкация!.. Я ничего не разобрал тогда в саду без ума от боли при общем крике, не помню, как отвели меня сюда перевязывать рану; я полагал, что этим гамом славят тебя и жалеют меня.

– Куда там!.. О нас теперь позабыли.

– Конечно... все примутся выражать соболезнование моему дядюшке, растирать его синяк, но искренно едва ли кто пожалеет его, разве один мой дед...

– Дело хуже, Виргиний; твой дядя убит наповал.

– Дядя Вулкаций убит наповал?!

Что почувствовал Виргиний при этом известии, трудно выразить: жертвой случайной катастрофы был не кровный его родственник, а лишь бывший мужем его давно умершей тетки, человек сварливый, злопамятный, мучивший его, как

второй деспот, вместе с дедом, но тем не менее, юноша ужаснулся.

Меткий удар Арпина мог сразить и царя, и его отца Скавру, и всякого другого из присутствовавших на тризне.

Еще не одумавшись, не разобрав своих мыслей, Виргиний ясно сознал пока одно то, что случайным виновником катастрофы оказался его друг. Это леденило его сердце. Он широко раскрыл глаза, не в силах вымолвить в ответ ни слова.

– Да я не шучу, Виргиний, – снова заговорил Арпин, поняв всю силу впечатления, произведенного ужасным известием на юношу, – я должен скорее скрыться, пока меня не схватили; я зашел проститься с тобой и дать тебе клятву над огнем и водою, что убил твоего дядю совершенно случайно, без умысла.

Виргиний еще с минуту безмолвно глядел на своего друга широко раскрытыми глазами, а потом вскрикнул так дико, что тот отскочил от него.

– Арпин, ты погиб... Скавру не бороться с Руфом! Уходи в Самний; это одно остается тебе; уходи, пока общий ужас не прошел, переполох не угомонился. Царь не любит моего деда за двуличность, коварство, но по обязанности уважает, как фламина; он прикажет Скавру выдать тебя на казнь.

– Уедем вместе, Виргиний; возьми меня в твою повозку до нашего озера; там мы простимся. Моя мать, дед и другие родные самниты никогда не считали меня за раба, как здесь; ты это знаешь.

Арпин наклонился к раненому, пристально всматриваясь в повязку, наложенную на его лоб служанкой.

– Это пустяк, – сказал ему Виргиний с усмешкой, возвращая свою обычную беззаботность, – успокойся! Я не злюсь ни за мой лоб, ни за гибель дяди. Мы теперь стали настоящими братьями по оружию. Хочешь, поменяемся секирами? – моя, которую ты закинул, очень хороша; ее царь подарил моему деду, когда привез с набега от рутулов. Ее рукоять вся обвита медною проволокой и стекляшки в ней вправлены; она из какой-то не здешней, заморской дубины, – дерево такое крепкое, что не перерубишь его, я пробовал.

– Хорошо. Мне давно нравилась твоя рутульская секира.

– Ведь ты уйдешь от нас, Арпин, надолго, – пока не умрет мой дед, а с ним забудется долг кровомщенья, потому что Марк не станет мстить за отца; я думаю, что этот вертопрах даже тайком рад катастрофе; ты неожиданно дал ему свободу и наследство. Мой дед может умереть не скоро... ты не забудешь меня у самнитов?

Арпин порывисто обнял друга с горячим поцелуем; Виргиний застонал, но тотчас усмехнулся, говоря:

– Больно мне, друг! Не горячись! В ласке так, по-медвежьи, нельзя, как в борьбе.

Он ослабел, припав головою к плечу усевшегося с ним богатыря; кровь засочилась сквозь перевязку его раны, но вторично накладывать примочку он не захотел, несмотря на угрозы старой царской рабыни, не обратив внимания на все ее

предсказания, что от небрежного отношения к ране головы с ним может случиться что-нибудь очень дурное.

– Едешь ты, господин, в деревню на день, – говорила старуха, – а не вернешься месяц, ежели этак станешь на свои силы надеяться, что авось пройдет; это не рука, не нога; голова – дело важное.

Вместо дальнейших возражений Виргиний приказал ей принести его рутульскую секиру, которою убит Вулкаций, подарил это массивное орудие Арпину, собственноручно прицепив к его поясу, и уехал с ним.

ГЛАВА III

Тарквиний и жрец

Уже начинало светать, когда, промешкав в хлопотах около раненого, друзья подъехали к тому месту у берега Тибра, довольно далеко от царского сада, где находилось жилище фламينا Руфа.

Эго была просторная площадь, назначенная для обучения воинов, расчищенная и уравненная среди холмов, на одном из которых, в густой зелени сада, виднелось скромное жилище жреца с несколькими мелкими зданиями для его рабов, животных, имущества.

Роскошь тогда не только еще не развилась у римлян, но и строго порицалась.

Река тихо струилась у подножия этой возвышенности, круто обрывавшейся к воде.

Вдали за рекой белели домики рыбаков.

Сход к Тибру в Риме был везде отлогим, кроме двух-трех мест, являвшихся, как прибрежные крутизны и обрывы, но чем дальше оттуда, внутрь страны, тем массивнее высились отроги Апеннин, постепенно переходя в малодоступные людям высоты знаменитого хребта.

На Апеннинах не было нигде вечных льдов, глетчеров, но некоторые вершины поднимались столь высоко, что уже яр-

ко краснели зарей начавшегося утра, когда вода Тибра еще едва виднелась во мраке.

Виргиний и Арпин остановили волов невдалеке от подъездной дороги, высеченной в горе к дому фламина, чтобы его внук сходил туда пешком за новыми инструкциями, узнав об этом от царского слуги, но он не полез на гору, привязав волов к дереву, потому что увидел своего деда вблизи. Посоветовав Арпину скрыться в кустарнике, Виргиний намеревался обратиться за приказаниями к бродившему старику, но внезапно отпрянул в сторону и спрятался от появления совершенно неожиданного гостя.

Фламин Руф ходил по берегу реки, высказывая своему любимому камиллу (жрецу-помощнику) из дальних родичей разные желания относительно встречи тела зятя с таким выражением лица, будто задает себе вопрос, – не броситься ли ему в воду с горя?

В своих стенаниях он заметил стройную фигуру юноши, стоявшего по-видимому, уже долгое время поодаль от него.

– Префект Тарквиний! – позвал жрец. – Что ты тут делаешь вместо того, чтобы сетовать с царем об осквернении его сада случайным убийством?

– Ищу тебя, фламин, – ответил царевич с усмешкой в голосе, – мне нечего там делать; великий понтифекс уверил царя, что сад не осквернен, – уверил, будто тень моего брата потребовала себе Вулкация в жертву, как благородного, не довольствуясь кровью наемников и рабов; оттого, будто, в Вул-

кация попал топор ничей иной, как твоего внука Виргиния, который равен происхождением твоему зятю, и из руки Арпина, рожденного, подобно царю, – тоже, пленницей. Царь запретил Марку Вулкацию искать Арпина на кровомщенье, как раба, для казни, а лишь позволил вызвать его на поединок, как сына Скавра. Марк Вулкаций струсил, потому что Арпин – богатырь перед ним, – даже безоружный с первого налета сломает ему все кости по-медвежьи.

Притаившиеся друзья при этих известиях обрадовались мыслью, что Арпину теперь нет надобности бежать к самнитам, но дальнейшие речи Тарквиния и жреца привели их в полный ужас.

– Ах, этот Скавр! – говорил Руф презрительно и злобно, – везде он мне препона!.. Марк интриговал против него в деревне, но ему не удалось заставить его зятя Турна оскорбить народ и богов нарушением жертвенного обычая.

– Да, но зато Авл и Тит преданны нам. Обязанный Марку спасением жизни от гибели в жертвенной корзине, Авл превратился в деревенского лешего и превосходно играет эту роль в нашу пользу. Тит со стариком свинопасом помог Марку зарыть в сокровенном месте то, что ты советовал мне и дал из твоих запасов. Им удалось спровадить на смерть в виде жертвы старика и тот вчера умер, ничего не открывши; теперь они станут хлопотать о гибели управляющего Турновой усадьбы. Они пустили молву, будто принесенный в жертву свинопас – вор; управляющий виноват в оскорблении бо-

гов отдачею на деревенский алтарь преступника и сам должен лечь жертвой в искупление этой вины. Пока старик Грецин правит поместьем Турна, нам ничего нельзя предпринять дальше... руки связаны, понимаешь...

– Теперь мне не до этого, префект!.. Нам еще хуже свяжут руки, если моего внука заставят биться с сыном Скавра... Арпин не пощадит Марка, как щадил Децима.

– Разумеется... но и Марк не пощадит Арпина... я для этого и пришел, чтобы тут... наедине... передать тебе, фламин... вот, возьми этот сосудец... в нем этрусская жидкость... стоит смочить острие оружия перед боем, – и Арпин моментально свалится от первой царапины, понимаешь?..

– Понимаю, царевич, но еще неизвестно, даст ли Арпин Марку возможность сделать эту царапину... облапит по-медвежьему сразу... Это уж было раз в шутку... Он его с разбега поднял, как ребенка, и вскинул на забор, откуда тот долго не мог слезть потом. А ты, я надеюсь, префект Тарквиний, будешь благосклонен ко мне не только теперь, но и после... всегда... всегда.

Голос Руфа дрогнул, как бы от слезы.

– Конечно, я буду благосклонен к кому бы ни было, только не к Скавру, – ответил Тарквиний как-то иронически.

Фламин не заметил его тон и продолжал свои жалобы.

– Этот Скавр... этот Турн, его зять... они мешают... поверь, царевич, будет лучше и для нас и для всего Рима, если мы лишим их возможности тормозить наши дела. Ведь,

Турн – потомок рутульских царей... его могут избрать...

– Если наши дела удадутся, Фламин, я сделаю Великим Понтифексом...

– Моего внука Virгиния.

– Нет, я предпочел бы Марка Вулкация. По своей ловкости, этот твой внук именно «вулкаций» ученик Вулкана, бьет по наковальне без промаха; по матери он Руф (рыжий) и унаследовал ваши фамильные волосы, удобные для всяких перекрашиваний, а по бабушке он – Бибакуль (двойная палка, о двух концах) и унаследовал фамильную двуличность.

– Сделай его жрецом двуликого Януса вместо Клуилия, которому, как и мне, скоро будет время удалиться на покой за старостью.

– Ладно... только... Турн – потомок царей... ты опасешься, что в Риме предпочтут...

– Положись на мою опытность, царевич: в сане Великого Понтифекса ловкий человек неудобен, мешает могуществом... Марк очень хорош для нас в положении слуги с перспективою золотых надежд на всякие милости, но на вершине жреческого величия, право, удобнее человек слабый, мягкий...

Руф обнял Тарквиния и крепко прижал к своей груди, уверяя, что Сервий на предстоящей войне с этрусками будет убит или, по старческой слабости, умрет от простуды, потому что на этот раз ему придется воевать в холодное время.

Тарквиний ушел куда-то по берегу, а Virгиний, не имея

больше в нем опасной помехи, подошел к своему деду, выслушал новые приказания и отправился с Арпином в деревню.

Виргиний ровно ничего не понял в переговорах царевича с его дедом жрецом, да и не старался понять, отчасти по своей простоватости идеалиста, отчасти вследствие боли головы от раны, которая при тряске в телеге стала мучить его с минуты на минуту хуже.

Арпин испугался и за себя и за отца, которому грозит гибель, потому что его враг Тарквиний, по причине набега этрусков, сделан от царя правителем Рима.

Чем этот гордец совместно с Фламином Юпитера может погубить двух столь могущественных лиц государства, как Великий Понтифекс и его зять, потомок рутульских царей, Арпин не мог придумать.

Как слуга городской, он не знал подробно всего хода деревенской жизни, как этого не знал и Виргиний, хоть оба они иногда наезжали в поместья Фламина и Понтифекса, граничившие между собою.

На деревню они, римляне, и патриций и раб, одинаково глядели свысока и игнорировали тамошних свободных поселян гораздо презрительнее, чем рабов, составлявших челядь поместий. Свободные поселяне были им чужими людьми. Арпин и Виргиний не знали, чем они могут им быть опасны или полезны, не знакомились, не сближались с ними.

Арпин решил не уходить к самнитам до тех пор, пока не

узнает, какая опасность грозит Скавру с его зятем, чтобы разрушить козни их врагов. Он любил своего господина не меньше, чем тот его, хотя и не смел открыто называть отцом.

Он предположил до нужного времени прожить где-нибудь тут поблизости, скрывшись среди гор и болот этой местности.

ГЛАВА IV

Прощание друзей

Добравшись до близких к Риму владений Великого Понтифекса и его зятя Турна, друзья спешили, привязали волов с телегой к дереву, подошли к берегу болотной трясины среди гор, но медлили расстаться, хоть близился полдень.

Они развели костер и нажарили себе дичи, которую тут же убили стрелами.

– Мне совестно стрелять и метать копьё при тебе; ты не делаешь вовсе промахов никаким оружием. – Говорил Виргиний, с аппетитом усталого человека доедал свой кусок кабаньего окорока.

– А между тем, именно ты учил меня, как ученик хороших педагогов, – ответил Арпин, – помнишь, как ты устанавливал меня в позу борца, закидывал мою голову, отодвигал ногу, чтобы правильнее целиться или нападать? Я ничего не умел... Дома меня не учили.

– Зато теперь ты превзошел меня.

– В стрельбе и метании, Виргиний, но про меч ты недавно говорил, что я с ним иду, точно козел, желающий бодаться.

Друзья засмеялись.

– Ты держишь голову, наклонивши вниз, с мечом, как это требуется при копье, Арпин, а я постоянно забываю, что ты

лишь недавно зачислен в оруженосцы великого Понтифекса...

– Совершенно против моего желания.

– И как копейщик, а не мечник.

Они умолкли, продолжая завтракать.

Жрецы в древнем Риме, во все течение нескольких сот лет его исторической жизни, и царской, и республиканской, и кесарской эпохи, не составляли слишком замкнутой, обособленной корпорации духовенства, занимая, совместно со своими санами у жертвенников, другие, гражданские или военные должности.

Об исторических лицах в этом смысле известно, что Юлий Цезарь служил среди младших жрецов Юпитера, помощников Фламина, камиллов; Тацит-историк, будучи гражданским претором (судьей), числился в гадалателях-авгурах. Императоры принимали на себя сан великих понтификсов.

Исключение составлял сан Юпитерова Фламина, обусловленный чрезвычайно строгостью уставов жизни, почти до аскетизма, лишь очень недолго, в строгие времена республики, чего при Сервии еще не было введено.

– Давай на прощанье вспомним былое, наше «золотое времечко!» – предложил Арпин после долгого молчанья. – Тут очень удобное место; метнем копья через этот болотный за-

лив; он довольно широк, но я уверен, что ты перебросишь копьё.

– Конечно, – согласился Виргиний, – но во что?

– Вон там лежит большой камень, а за ним растёт толстое дерево; кто-то отпилил ветвь от него так гладко, что я вижу совершенно ясно круглый, светлый сучок; попади в него!..

– Ладно, попаду.

Отобедав, друзья стали упражняться в метании копий.

Первым бросил Виргиний; его удар был верен, но несилён; копьё легко перелетело довольно широкую излучину трясинны, похожую на отдельный мелкий прудок, но затем, ударившись в крепкую древесину отпиленной ветви, оно отпало от нее и свалилось в прибрежную тину.

– Метко! – воскликнул Арпин, хлопнув друга по плечу, – ты напрасно полагаешь, будто кровотечение из раны ослабило твою силу, и глаз твой все так же верен, по-прежнему.

– Но мне все-таки далеко до тебя; ты известный всему Риму копейщик и борец на секирах. Удружи, Арпин, в последний разок! Дай поглядеть на всю твою мощь! Дай полюбоваться!

– Изволь, товарищ!

Арпин без всяких приготовлений и как будто не целясь, метнул с такою силой, что его копьё не только попало в отпиленный сучок, но даже расщепило его и завязло, глубоко вонзившись бронзовым острием.

Виргиний подпрыгнул в восторге от ловкости друга, ко-

гда-то бывшего его учеником, и горячо обнял его, говоря:

– После такого молодецкого удара, я больше не хочу ни сам метать, ни видеть твоих упражнений, потому что все это выйдет непременно хуже. Расстанемся, Арпин, теперь! Пусть этот твой молодецкий удар останется последним воспоминанием нашей дружбы, и у тебя и у меня. Я провожу тебя еще немного, за эту трясиину, чтобы взять мое копье, увязнувшее в ней.

Предстоящая разлука с товарищем щемила его сердце. Судьба Арпина представлялась ему ужасною.

На заре жизни, 20-ти лет, в том возрасте, когда человек мечтает лишь о счастье, богатстве, славе, едва начиная входить в настоящую жизнь взрослых людей, – в эту дивную пору юности Арпин как будто раздробил всю свою будущность вдребезги секирой вместе с головою сварливого Вулкация, пресек себе совершенно неожиданно, случайно, дорогу ко всему хорошему, почетному, покончил все счеты с жизнью.

Что осталось ему впереди, если он избегнет происков Руфа на казнь? – жизнь изгнанника.

Виргиний знал, что Арпин не такой человек, которому ничего не нужно, не мило, не дорого, знал, что он вовсе не апатичный флегматик, не равнодушный к благам жизни.

Арпин имел в своем характере нечто особенное, какие-то неуловимые черты иронии, скептицизма, но это происходило от его исключительного положения рабства у собственного отца, а чудачком, эксцентриком, Арпин вовсе не был.

Не был он подобен и обыкновенным невольникам-слугам, которые ищут в жизни лишь своего личного покоя во всеобщем забвении, хоть и не мечтал никогда о возможности, будучи сыном патриция Скавра, прославиться своею силой и ловкостью, хоть бы и в должности оруженосца при отце, стать знаменитым на поле битвы воином-богатырем.

Арпин не стремился добыть на войне много сокровищ, не просил отца дать ему под команду отдельную партизанскую дружину рабов для набега, так как раб командовать настоящими воинами не имел права, а дать ему свободу было нельзя, – римляне этой эпохи совсем не освобождали рабов.

Рабу можно было только позволить жить отдельно, отпустить, как ненужного, но он от этого не получал никаких прав, не становился отпущенником.

Если бы Арпин ушел с дозволения Скавра в Самний к своей матери, отпущенной туда, взял там себе в жены царевну, даже сам стал царем основанного им нового города, – он не перестал бы в Риме считаться невольником Скавра или его наследников, не перестал бы принадлежать к роду Эмилиев.

Прежде Виргиний восхищался твердостью духа своего друга, его покорностью неумолимой воле суровой судьбы, умением примениться к невзрачным обстоятельствам, способностью иронизировать над всем, что выпало ему на долю в жизни.

Теперь Виргиний удивлялся, как Арпин хладнокровно

выносит мысль о предстоящей ему горькой доле изгнанника.

Что ждет его у самнитов? Как встретят и примут его материнские родные? Так ли любезно, как встречали прежде? – Неизвестно.

Какими бы почестями его ни окружили, где бы ни поселили, Арпин останется римлянином по духу воспитания; его все будет тянуть назад, к отцу, к другу, к родне.

ГЛАВА V

Брошенное копьё

Арпин пошел в обход по берегу болотного залива, понурившись со скрещенными руками. Он был слишком искренен и правдив, чтобы обнадеживать друга какими-либо эфемерными, призрачными мечтами.

– Твой дед и двоюродный брат до самой своей смерти будут теперь ненавидеть меня за случайную гибель Вулкация, говорил он, – самое лучшее в этой катастрофе для меня то, что я его убил, стоя к нему задом, перебросив твою секиру через свою голову, стало быть, нет никакой возможности обвинять меня в преднамеренности этого; никакой хитрый грек, никакой этрусский гладиатор или фокусник, нарочно этого не мог бы сделать. Если бы не такая особенность удара, ни царь, ни весь Сенат, не спасли бы меня от казни по кровомщению твоей родни. Но и ты берегись, Виргиний! Я узнал из городской молвы кое-что страшное. Я должен уйти к самнитам, но я не забуду тебя. Может быть, в трудную минуту пригожусь тебе. Явлюсь, прилечу, как на волшебных крылах Дедала... Виргиний!.. Ах!..

– Да... Ты должен уйти, Арпин; иначе Марк погубит тебя отравленным оружием; ты слышал, что Тарквиний говорил моему деду.

– Виргиний! Дорогой мой! Сказал бы я тебе одну тайну, да боюсь... боюсь твоего простодушия... Ты любишь и любим взаимно, а влюбленные – преопасный народ.

– Но ты сам любишь жену Тарквиния.

– Люблю, но не влюблен в нее. Я вижу в ней идеал жены, я хотел бы иметь женою такую, а не именно ее, – в этом между нами разница. Я люблю ее, как раб царевну, недостижимо-знатную для меня.

Виргиний видел в выражении унылого лица товарища нечто таинственное, загадочное, как будто Арпин что-то предвидит, знает, или замыслил сделать, только не высказывает своих сведений или намерений, быть может, оттого, что сам не уверен в них.

Он ничего не ответил ему, только с тяжелым вздохом низко нахлобучил себе на лоб пастушью, деревенскую шляпу, сплетенную им самим из травы, для таких поездок на виллу по приказаниям деда, и плотнее закутался в плащ из шерстяной дерюги, накинутый сверх его очень короткой безрукавки из овчины, защищавшей только спину и грудь. Кроме этого, на нем была лишь суконная сорочка, подол которой не доходил до колен.

Римляне тогда еще не позволяли своей молодежи надевать много платья, чтобы не изнежиться.

В нескольких шагах от камня, находившегося под развесистым деревом, друзья остановились и глядели один на другого неподвижно, безмолвно, долгое время, взаимно пожи-

мая руки.

– Пора, Арпин, – заговорил наконец Виргиний, – я боюсь, что будет поздно; царь, по расположению к твоему отцу, конечно, постарается всячески мешать погоне за тобой, но Тарквиний, подстрекаемый моим дедом, пожалуй, сам отправится сюда искать тебя, чтобы заставить выйти с Марком на поединок в деревне, так как нельзя в городе; Марк убьет тебя отравленным оружием.

– Не посмеют они наперекор царю.

– Тарквиний?.. Да... Прежде... Пока этот Тарквиний имел брата, могшего оттянуть у него значение; он льстил своему воспитателю, царю Сервию, зная, что тот имеет право во всякое время отвергнуть его, даже казнить за пустяки. Теперь, вспомни, у Тарквиния совместника не стало и есть целая ватага сторонников, которым выгодно игнорировать старого царя в угоду его зятю.

– Ты правду говоришь, Виргиний, – ответил юный силач, – мой отец держал сторону Арунса именно по той причине, что он был смиреннее нравом.

– В этом оправдалось всегдашнее предположение моего деда; он говорил, что Арунс не способен пробить себе хороший житейский путь.

– Мне жаль Арунса... искренно жаль.

– Потому что ты жалеешь меня, Арпин; я подобен Арунсу и сам, без предсказаний деда, знаю, что мне тоже не проложить хорошей дороги. Я ничего не люблю из того, что мне

предлагает моя среда общественного положения, а она мне ничего не дает и не позволяет такого, что я люблю.

– Прощай, Виргиний!

– Прощай, Арпин! Отчасти я рад, что ты уходишь, хоть мне и горько расстаться с тобой... ах!.. Расстаться, быть может, навсегда... и уж во всяком случае надолго-надолго...

– Если бы мог, не ушел бы от тебя, но тебе же станет еще грустнее, если не уйду и Вулкаций младший погубит меня.

– Конечно, ты должен уйти. Я долго о тебе протоскую, Арпин, а не забуду тебя никогда, никогда! Быть может, встретимся в сражении, с мечами в руках...

– Тогда я одним махом вырву тебя из седла с лошади к себе и ... в плен... вот так.

Силач схватил нежного патриция в охапку, перенес на камень, и усадил рядом с собою.

– Сдаюсь, самнит, заранее, – сказал Виргиний, засмеявшись, – в плену ни у каких врагов мне не будет хуже, чем у моего дедушки... и ведь ты не заставишь же меня сражаться против Рима.

– Откровенно говоря, Виргиний, я и сам не стал бы сражаться против вас. Если и не будет моего отца при войске, если мой отец даже умрет, то все равно... есть другие люди, которых я уважаю... зять моего отца Турн Гердоний, его сыновья, Спурий-Луcreций, Брут... я не мог бы стоять против них на поле битвы... ах, Виргиний!.. Какой я самнит?! Я – римлянин... все святое и дорогое у меня не в Самнии,

а здесь, у вас... если бы было можно, мой дорогой, мой милый Децим-Виргиний, брат мой и по оружию и по взаимному расположению с детства, я не ушел бы от тебя; никакие ласки матери, никакие привилегии от самнитских старшин не сманили бы меня.

Друзья горячо обнялись в последний раз и расстались.

Выдернув свое брошенное копьё, вонзившееся в древесный сук, Арпин навязал на него двух застреленных им зайцев и утку, оправил другое оружие, висевшее за плечами, побрел вверх по горной тропинке, взбираясь с ловкостью умелого горца, и скоро пропал из вида оставшегося товарища.

Виргиний, позабыв все приказы и поручения своего дедушки, просидел на камне у болотной трясины почти до вечера, решив свалить все свои промедления на головную боль от раны.

Он отправился ночевать на виллу Руфа до того огорченный, что даже позабыл достать из трясины упавшее туда и торчавшее у самого берега свое брошенное копьё.

ГЛАВА VI

Наваждение лешего

Наивный Виргиний пробовал приниматься на дедовской вилле за разные дела и в наставший вечер и на другой день, но у него ничто не клеилось, не спорилось, не шло на лад. Все дедовы поручения и приказы он перепутывал в своих мыслях, переиначивал в памяти, говорил управляющему, эконолке и рабочим, сам не зная что, сознавая вполне ясно одно, что вернувшись в Рим, получит от Фламина изрядную нахлобучку с побоями за исполнение его поручений неверно, даже быть может навыворот.

Он решил все это сваливать на боль головы от раны, но знал, что подобные увертки перед Руфом не помогают. Он не мог, не в силах был заниматься сельским хозяйством. Ему все думалось неотступно о том, что он никогда не увидит Арпина, вспоминались детские игры с ним, взаимная помощь для избавления от наказаний за шалости, принятие на себя вины другого, причем Арпин даже бывал рад, если его высекут вместо друга, уверяя, будто ему это совсем не больно.

Эти воспоминания больной головы раненого стали походить на галлюцинации; Виргинию слышался голос друга, мнилось, будто Арпин зовет его, ждет на том самом камне у болотной трясины, где простился с ним.

Виргиний бросил работу, рыболовную сеть, которую плел себе от безделья, и улегся спать очень рано, отказавшись ужинать, прогнал свою бывшую няньку, служащую экономкой виллы, и ее дочь Диркею, полоумную гадалку, надоевшую предсказаниями, будто Виргиния ждет в скором времени исполнение всех его желаний.

Голова у Виргиния перестала болеть, но он знал, что и эту вторую ночь едва ли уснет; при расстройстве, в каком он находился, сон редко приходит на выручку из беды, но валяться молча впотьмах горяющему юноше казалось легче, нежели выслушивать банальные утешения от двух баб или вернуться в Рим на похороны убитого дяди, которого он терпеть не мог при жизни, был не в состоянии оплакивать случайную гибель этого коварного человека от руки честного Арпина, которого любил.

Виргиний знал, что похороны убитого произойдут торжественно, при полном собрании всего римского патрициата, был уверен, что на тризне непременно произойдет, если не явно бурная, то укоризненно колкая, сцена между его дедом и Скавром по поводу неудачи погони за Арпином.

Руф мог полагать, что бежавший спрятался в совместных владениях поместья своего отца и Турна, в одном из старинных склепов, где покоились мертвецы, которые считались предками теперешних владельцев нескольких смежных поместий этого округа.

Виргиний был убежден, что Руф заставит сына Вулкация

непременно отомстить за своего отца великому понтифексу, если тот не выдаст Арпина на казнь, как раба, отрекшись от своего отцовского покровительства ему.

Перебирая в своей памяти различные эпизоды недавнего прошлого, Виргиний для развлечения скуки в эту бессонную ночь повторил перед собою все, что знал о том, как его двоюродный брат, Марк Вулкаций младший несколько лет тому назад безуспешно приволокнулся за дочерью управляющего Турновой усадьбы, назвавшись для более удобного сближения с нею, невольником, уговорив даже одного из тамошних рабов признать его своим пропавшим сыном.

Все это когда-то Марк выболтал Виргинию в родственно-товарищеской беседе. Знал об этом и Арпин, но они не придавали значения «шутке», «дурачеству» юного патриция у рабов, которые без этого не приняли бы его в свой круг.

Вчера дряхлая Стерилла добавила к прежним сведениям Виргиния новые: Марк поклялся свинопасу, который согласился играть роль его отца, что в награду за это, он спасет его от принесения в жертву, когда поселяне потребуют от помещика человека на свой алтарь местной богини плодородия, но он не спас.

Старик, которого Марк называл отцом, в последнюю минуту всенародно проклял его, и это время роковым образом совпало с его бедою: в тот самый час, когда погиб его отец мнимый на алтаре деревенской богини, в Риме от руки Арпина случайно погиб и его отец настоящий. Судьба тя-

жело покарала Вулкация младшего за его интриги, за ложную клятву, за оставление без помощи человека, которого он клялся спасти в награду за его услуги.

Эти воспоминания навязчиво толпились в голове Виргиния всю ночь, перемежаясь с еще более навязчивой идеей, что Арпин зовет его, нуждается в нем для чего-то.

Чувствуя лихорадочную лень, Виргиний через силу встал на заре, лишь только в доме послышалась возня с голосами пробудившейся челяди.

Экономка Стерилла все время его краткого завтрака рассказывала всякие невероятные казусы о поселянах, варьируемые на все лады в самых вычурных, невозможных сценах, похожих на бред, но однообразных в том, что в них везде фигурировал Инва, знаменитый леший римской мифологии. Стерилла клялась, будто недавно чудовище вырвало из рук поселян одним махом жертвенную корзину с лежавшим в ней обреченным стариком и разными плодами, такую тяжелую, что четверо мужиков, едва тащили.

– Наваждение! Наваждение! – приговаривала старуха. – Не ходи, господин, не ходи на болото! Инва сцапает тебя в свою пещеру, в неведомое логовище, и пропадешь там без вести.

Но от ее рассказней Виргиний еще сильнее стало тянуть к тому болотному камню под дерево, где он простился с Арпином навеки. Он вспомнил, что оставил там свое копье, упавшее в воду, и пошел в эту далекую местность, забыв и

болезнь и усталость, повторяя в своей голове одну и ту же мысль:

– Скорей, скорей туда!

Он сам не знал, зачем идет, так как копьё с каменным наконечником драгоценности не составляло; он делал их просто от безделья десятки и себе и другим; множество всякого сорта оружия валялось в господском доме и по сараям усадьбы Руфа.

Виргиний, конечно, о копьё не думал, даже не поднял его из прибрежной тины, где увидел еще не засосанным, когда пришел на болото земель Турна.

– Я лягу здесь спать, – решил он, начиная закусывать мясо из захваченной с собою провизии, – Арпин приснится мне скорее, чем дома.

Он нарочно думал о друге, хорошо ли тому будет у самнитов? Если не хорошо, не уйдет ли он от них еще дальше, откуда уже станет совершенно невозможно вернуться на родину?

При плохих путях сообщения тогдашним людям было до всего далеко; они ездили по целой неделе в места, куда теперь требуется один день для передвижения, а вся земля казалась им такою огромною, что знаменитый «конец света», т. е. берег Океана считался чем-то мифически-неведомым, таким далеким, что не дойдешь, не доедешь во всю жизнь.

Две горы у западного конца Средиземного моря, стоящие почти одна против другой, Риф и Гибралтар, назывались

Столбами Геркулеса, которыми этот герой будто бы подпер небесную твердь, чтобы не изнывать от ее тяжести, когда взялся временно держать вместо Атланта, ушедшего рвать золотые яблоки.

Сон овладел Виргинием до такой степени незаметно, что юноша даже не доел принесенную с собою свинину, задремал с зажатым куском в руке.

От испарения болота лихорадка его, причиненная раной, усилились; он инстинктивно почувствовал присутствие друга и наконец увидел его, не сознавая, что держит свои глаза закрытыми. Какое-то странное, особенное состояние духа овладело им; это было сон и не сон, точно бред полусознания болезненных дум.

Арпин появился пред своим другом по ту сторону неширокого болотного залива; он шел с копьём наперевес; на приделанном к древку крючке, как это бывало и прежде при их совместных наездах в деревню, болтались убитые зайцы и утки, связанные лыком за ноги. Огромная рутульская секира, подаренная ему Виргинием на братскую дружбу в обмен за его оружие, висела слева у пояса силача, который тихо обходил болотный залив, приближаясь к сидящему, как будто еще не заметив его со своей стороны.

Виргиний, видя Арпина сквозь плотно сомкнутые веки своих глаз, постепенно сознал что это сон, призрак, но он не желал его исчезновения и отдался в полную власть болезненных фантазий, лишь бы ему побыть с товарищем хоть меч-

тою.

Арпин подошел и что-то стал говорить, но Виргиний слышал его речь неясно и ничего не отвечал.

Ему казалось, будто они пошли вместе прочь от трясины куда-то в горы, сквозь знакомую им расселину.

Виргиний не различал уже, что из всего этого происходит с ним в действительности и что во сне.

Он ясно слышал и понял из всего, что говорил Арпин, лишь главную сущность его речей:

– Проснись, Виргиний, пойдём! Я покажу тебе мое теперешнее жилище; это, близко отсюда; я нашел удобное и верное убежище, я не уйду к самнитам, не покину тебя, мы можем часто видаться тайком, можем охотиться, как в былые годы, не расстанемся никогда, никогда!

– Не расстанемся никогда! – повторил спящий совершенно машинально.

– Да ты сознаешь, понимаешь, что я говорю?

– Все понимаю, говори, говори со мною, Арпин!

– Если ты хочешь, я похищу Амальтею для тебя в мое жилище, ты будешь ее мужем; никто не разлучит вас, пойдём!

– Пойдем! Амальтея будет моею.

Виргиний намеревался продолжать разговор, но не мог, после нескольких едва внятно произнесенных слов голос не повиновался ему, речь не слагалась. Он мог только слушать и предполагал, будто сам говорит ответы. Ему снилось, что в ущелье, по которому друг ведет его, очень много дичи, они

ее оба бьют, нагружают свои плечи и древки копий ею.

Вот и дом Арпина.

Виргиний силился рассмотреть это здание, но не мог: палаты это или хижина? Оно подернулось туманом; стало мрачно вокруг от внезапно нашедшей тучи, точно под крышей или под темным, толстым плащом.

Арпин продолжал говорить о своем доме, безопасном положении, счастье Виргиния с Амальтеей, возможности для него даже совсем скрыться на волю от деспотической власти деда, но его речи были еще страннее первых.

– Ты можешь поселиться у меня с Амальтеей, чтобы быть счастливым; скройся до самой смерти твоего деда; пусть думают, что ты в обмороке от раны свалился в трясину и засосан бесследно. После смерти деда ты вернешься в Рим; мы можем придумать какие-нибудь чудеса о твоём исчезновении и возвращении. Если Вулкаций успеет завладеть всем твоим наследством от деда, – не беда. Я дам тебе много, много денег и всяких драгоценностей, неизвестно кем собранных и откуда, принесенных в жертву мне; я их законный обладатель, потому что я – Инва, леший здешних мест и Палатинской пещеры.

Сказав это, Арпин захохотал.

– Инва! – воскликнул тихо Виргиний, вспомнив рассказы Стериллы, вздрогнул и очнулся, открыл глаза.

Он увидел, что сидит на камне, где заснул, но его голова склонена к мягкому, теплому плечу человека, сидящего ря-

дом; этот человек левою рукою обнимает его, бережно точно хрупкую заморскую редкость накрыв ему голову, чтобы свет не тревожил спящего, и его плащом, и еще чем-то странным, невиданным, серого цвета, длинношерстным, лохматым; острые когти видны на меховой руке, похожей складом на человеческую.

О том, что царевич говорил Фламину про поселянина, играющего роль лешего, Виргиний совершенно забыл, и сидел в ужасе неподвижно, пока странное существо само не отодвинуло его от себя, говоря тихим голосом, похожим на голос Арпина.

– Пора уйти... больше нельзя...

Его голова была огромною головою зверя, похожего на медведя. Он стоял на двух лапах с когтями, опираясь на огромную дубину.

– Инва! – вскричал Виргиний, бросившись прочь, чтобы убежать. – Леший заколдованной пещеры!

Медведь, казалось, усмехнулся, добродушно глядел на него, но ничего не ответил, а только стал манить его идти следом, направляясь в горы.

Виргиний пошел не из любопытства, а из страха отказом раздражить гения полей и лесов, которому нередко приносили в жертву ослов, закалываемых одним из самых важных сановников, жрецов или старшин, иногда даже самим царем в просторной пещере одного из прибрежных холмов около Тибра, принадлежавших трибе рамнов в Риме.

Это был ужасный обряд по той причине, что «бог» всегда являлся видимым образом, схватывал и уносил жертву на двух ногах, по-человечески, но издавая при этом рев столь ужасный, громоподобный, что ни с каким звуком живых существ его нельзя было сравнить, причем все жертвоприносители, конечно, разбегались, не исключая и самого царя.

Виргиний множество раз присутствовал на жертвоприношениях Инве, но лишь снаружи, издали, даже боясь заглянуть внутрь заколдованной пещеры; его всегда при этом удивляло, как и всех, что оглушительный рев чудовища ни одному человеку вне пещеры не слышен; кроме голосов жертвоприносителей, им мнились лишь тихие звуки, схожие с журчаньем отдаленного потока.

Не знавшие законов акустики наивные римляне тех времен, конечно, не могли объяснить такого явления, приписывая его могуществу таинственного обитателя Палатинского грота.

Следуя за медведем невиданной породы, Виргиний достиг входа в его логовище.

Это была просторная яма с не особенно крутыми стенами из горных камней, кое-где покрытых растительностью, глубиною немного больше человеческого роста. Пришедшие легко спустились туда.

– Не бойся! – сказал медведь глухим голосом из-под шкуры. – Не бойся, Виргиний! Там не страшно. Я покажу тебе мое жилище с одним условием; – не говори больше, не про-

износи ни слова даже шепотом. Если тебе надо будет что-нибудь сказать, разделить горе или радость, то приходи сюда или к Палатинской пещере в Рим и зови Инву без всякого страха. Я вечером решил бывать там, ждать, не принесут ли жертву, а днем буду караулить здесь.

Этот голос и походил и нет на голос Арпина.

Виргинию вспомнился говор Фламина с царевичем про какого-то Авла, играющего роль лешего, и ему стало казаться, что чудовище-разбойник нарочно принимает сходство с его другом, чтобы заманить к себе для гибели, почему-то не имея возможности растерзать его не в пещере.

Медведь довольно свободно пролез в отверстие горы и, высовываясь оттуда, стал манить Виргиния к себе, тихо говоря:

– Не бойся! Тут не страшно, только в пещере не говори ни слова со мной.

Виргиний одинаково боялся и влезать и послушаться серого чудовища, имевшего человеческий склад фигуры и огромную дубину, против которой даже секира была бы бессильна; он ее легко мог выбить из рук и забросить на дерево единым махом, как Арпин уже забросил однажды.

Условие «не говорить в пещере» осталось для Виргиния непонятным, но он боялся спросить «Инву» о том, что оно значит – съест ли он его, если тот заговорит вопреки запрещению, или напротив, – человеческая речь будет мешать ему растерзать жертву?

Наивный Виргиний не был уверен, что перед ним обыкновенный человек, одетый в шкуру серого медведя-пещерника убитого, конечно, не им, а его предшественником, обитателем этой пещеры, или даже получившим ее от более отдаленных времен, так как такие чудовищные звери там давно вывелись, хоть и могли еще попадаться в виде редких, единичных экземпляров, остатков вымершей породы, среди Аппенинских высот.

Голос Арпина тоже ровно ничего не открывал его другу, потому что тот, как и все, верил, будто Инва принимает вид знакомых людей для сбивания с дороги путников, заманивания их к себе и погубления.

В голове Виргиния возникло подозрение, что его дед и царевич Тарквиний ошибочно считают лешего каким-то Авлом, что это настоящее мифологическое существо сбilo их с толка наваждением, приняло вид Авла; Виргинию стало думать, что Инва заманил таким же образом Арпина к себе, приняв с кем-либо сходство, и загрыз в недрах своего логовища.

Виргиний знал некоторые мифы и исторические предания греков в виде сказок, искажаемых на свой лад каждым из рассказчиков, в чем особенным усердием отличалась его бывшая нянька Стерилла, жившая на вилле фламина экономкой, но в школах и от домашних учителей римское юношество греческой мифологии и истории тогда еще не изучало, хоть уже и ездило в Грецию гадать у оракулов.

Виргиний знал сказание, как Тезей убил Минотавра в подземелье, хоть и во многих подробностях не верно; ему подумалось, что великим героем стал бы тот, кто убил бы Инву, освободил бы Лациум от боязни этого чудовища, от обязанности платить ему дань в виде приносимых в жертву ослов, а иногда и людей, которые тоже бесследно пропадали в страшной пещере прибрежного холма.

Виргиний вспомнил, как прежде Арпин желал вызвать этого лешего на единоборство, хвастаясь возможностью одолеть его своею богатырскою силищей, связать, и принести на Форум, как Геркулес принес Цербера из ада.

И юноше мнилось, что Инва подслушал такую похвальбу его друга, заставил Арпина бороться, и разорвал его.

Оглядев могучую фигуру лохматого чудовища, Виргиний попятился от устья пещеры, но сознавал, что убежать невозможно, – Инва догонит его прежде, чем он успеет вылезти из ямы перед логовищем, а бороться с ним, схватиться в рукопашную, думалось, и Арпину не под силу, – в длинном, лохматом меху чудовище казалось гораздо массивнее скрывшегося самнита.

Но Виргиний может убить Инву сзади, схитрив перед ним, заставив для чего-нибудь обернуться спиною. Этим он отомстит за гибель своего друга.

С такую мыслью он влез в пещеру.

ГЛАВА VII

Пещера Инвы

Медведь любезно принял Виргиния, помогая ему спускаться в таинственное обиталище. Арпину очень хотелось рассказать другу, по каким причинам он тут поселился и как пришел к решению прослыть Инвой, пока не минует опасность кровомщения за смерть Вулкация.

Арпин не ушел в Самний, потому что любил отца своего и друга, любил и самый Рим; покинуть их навеки, оторваться от родной обстановки, было бы для него невыносимым мученьем тоски. Он знал своих самнитских родных, бывал у них гостем, как и они у него, но гостить и поселиться – дело разное.

Он не открылся Виргинию, наивно полагая, что тот сразу узнал его.

Пещера проходила глубокими недрами земли в виде извилистых, то широких, как улицы, то круглых и просторных, как площади, мест, то коридорами столь узкими, что идущим пришлось бы протискиваться боком, если бы они направились по ним; все эти главные ходы разветвлялись на бесчисленные боковые, пересекающиеся одни с другими, но ведущие в одном направлении, – от поместий Турна, Скавра, Руфа и др. к Риму, где этот лабиринт подземной пустоты

открывался устьем в Паланском холме.

Один из его боковых ходов вел к священной роще местных поселян, где из его устья вытекал ручей, посвященный богине Терре, Теллусе, Опсе, как называли землю. О нем с ужасом повествовала Стерилла Виргинию, будто в этот грот сутки назад засел Инва и ограбил богиню земли, отняв у нее себе корзину, принесенную ей в жертву поселянами.

В пещере, куда Виргиний вошел за медведем, находились ясные следы и старинной и недавней человеческой жизни.

Вход туда из поместья Турна от болотной трясины прежде был очень широким, но вследствие неизвестных причин заложен камнями, через которые было бы очень трудно перелезть и проникнуть внутрь пещеры, если бы, несомненно, и другими людьми и по другим причинам, эта преграда не была устранена для доступа.

Было очевидно, что там сначала жили обыкновенные дикари, первоначальники Италии, Япиги, убившие живших до них там серых пещерных медведей, одевавшиеся от холода зимою в их шкуры.

Потом там ютились, поселялись разные беглецы и изгнанники, пленники, рабы жестоких господ.

Им была выгодна роль Инвы, лешего латинских дебрей: их боялись, ублажали всякими жертвами, исполняли их приказания, главным образом потому, что серые медведи-пещерники тогда уже вывелись, попадаясь в Италии живыми очень

редко, единичными экземплярами последних остатков вымирающей породы.

Около устья пещеры, выходявшей к поместью Турна, было много мусора, который обитатели пещеры, как видно, не старались удалять; туда, частью со стен и потолка, частью снаружи от ветра, навалился песок, сучья, всякая листва и мочала. Были там также кости, и даже целые скелеты животных, олени рога, птичьи перья, яичная скорлупа и раковины.

Что Инва человек, это нередко думалось Арпину и прежде; на этом предположении основывалась его хвастливая похвальба возможностью принести его на своих плечах связанным в Рим, одолевши в поединке; слыша от прислуги, что в последние годы леший что-то чересчур зло буянит по деревьям, Арпин подозревал, что это – раб Турна Гердония, приговоренный к смерти за разбой. Он знал вход в пещеру со стороны болота, когда заявил, будто уходит навсегда к самнитам, куда путь лежал мимо этого места.

Обладая огромною силой, Арпин не боялся ни людей, ни зверей.

Он привел своего друга к постели из травы, над которою по стенам довольно глубокой, искусственно вырытой ниши, висело несколько шкур, сшитых для костюма Инвы, с преобладанием лохматых мехов волчьих и собачьих, так как медвежьих не могло бы достать на весь запас; были там стрелы, веревки, шкуры ослов, принесенных Инве в жертву.

Дальше находилось что-то вроде кухни этого подземелья, – следы костров, разбросанные головешки, уголья, зола, обглоданные кости, с некоторыми приспособлениями из камней, составлявших нечто вроде печки, стола, плахи для разрубания кусков, углубления и отгородки, похожие на сундуки или закрома для хранения зерна и кореньев от мышей, разбитые амфоры, и кувшины примитивной глиняной лепки, каких в Лациуме тогда уже не употребляли.

Что были за люди, обитавшие прежде в этой пещере, решить было не трудно даже наивному Виргинию; он понял, что то были несчастливцы, подобные его скрывшемуся другу или осужденному на казнь разбойнику Авлу, о котором Тарквиний говорил Фламину, только привыкшая к суеверию фантазия идеалиста и теперь заставляла его предполагать, что их приютил именно этот мифический, таинственный, чудовищный полудух Инва, приютил, некоторое время берег, заставлял служить ему, – шить и стряпать, а потом пожрал одинаково всех, и угодивших и борющихся с ним.

Виргиний с интересом осматривал, что ему указывал медведь пантомимой, прикладывая палец к своей зубатой пасти в напоминание, чтобы пришедший не произносил ни слова. Он указывал идущему разветвление подземных коридоров, уходившие неизвестно куда, по временам освещая дорогу факелом, но больше довольствуясь дневным светом, проникавшим в подземелье сквозь многочисленные трещины, расщелины и искусственно устроенные отверстия вроде окон.

Медведь хотел вывести Виргиния к холму, сквозь устье страшной пещеры, где приносились жертвы, чтобы этим разрушить иллюзию своего друга, боявшегося, как и все, и он сам прежде, этого места до такой степени, что избегали без надобности проходить мимо, особенно ночью, когда Инва, верил, бродит снаружи около своей пещеры.

Все шло ладно до тех пор, пока медведю не вздумалось потчевать усталого гостя куском жареного мяса. Он ввел его в глубокую нишу, где устроил свою постель из мягких шкур, покрытых вышитою тканью.

На этой постели лежали рядом два почти свежих трупа, о которых медведь стал жестами просить пришедшего помочь ему схоронить их; один был с разрубленною головой, вследствие чего Виргиний не узнал в нем беглого вора Авла, которого Арпин здесь убил, защищаясь от него, зато другой, нетронутый, бледный лицом как восковой, был отчасти памятен юноше, – вынутый из корзины, но оставленный зашитым в полотно, как был, труп хилого Балвентия, принесенного в жертву, и неизвестно, как испутившего дух, – раньше ли, истекши кровью, еще в роще, во время долгой церемонии над ним, или задушенный Авлом уже после похищения жертвы из грота.

Корзина Сатура, еще полная плодов, но уже без цветов, ободранная от тканей, тоже стояла близ того места; там было много еще костей и черепов; некоторые походили на человеческие, что пришедший еще не решил, но с него было

довольно и того, что он уже видел.

Среди этого хлама лежала рутульская секира, подаренная им другу, а подле нее сукно с вышитой каймой.

В этой грубой дерюге Виргиний узнал разорванный и окровавленный плащ своего друга, счел труп, лежавший около принесенного в жертву свинопаса, за несомненное тело Арпина; ужас и скорбь наполнили его сердце; он забыл все на свете от горя, забыл и роковое предупреждение.

– Ива! – вскричал он, сорвав с гвоздя и прижав к своей груди грязные лохмотья. – Ты людоед; ты убил, изжарил моего друга; ты угощаешь меня телом Арпина! Я убью тебя.

Результат нарушения запрета был ужасен: Виргиний никогда прежде не мог даже вообразить ничего подобного, и теперь ясно понял, отчего жертвоприносители почти всегда разбегались, как безумные, из пещеры Инвы, находившейся в приречном холме.

Замахнувшись на медведя секирой, он, вместо нанесения удара, бросился бежать, нанося раны самому себе по рукам, плечам, ногам, орудием, болтавшимся на ремне в его пальцах, прижимая к себе плащ Арпина.

Дело в том, что едва Виргиний прокричал свои возгласы, как из всех углублений и коридоров подземелья раздались никогда им не слышанные звуки, как бы шепот, шуршанье, каких-то существ, пока еще незримых, но уже начавших возиться где-то вдалеке, поднимающихся с логовищ, готовящихся лететь сюда, к Виргинию, ставшему жертвой Инвы

лишь только он нарушил его запрет, служивший, быть может, испытанием для каждого заманенного чудовищем в его подземные владения.

Шепот превратился в говор, в крик, в вопль, звериное рычание, в котором ясно повторялись все слова, произнесенные забывшимся юношей, но искаженные, перемешанные.

– Ты людоед! – кричал этот сонм незримых врагов, отголосков пещеры. – Ты убил Арпина, угощаешь Инву телом друга... Убью, убью тебя!..

Медведь, тоже забывшись, побежал вдогонку за обезумевшим Виргинием, закричав:

– Не бойся! Не бойся!

И в усилившиеся отголоски впуталось новое слово.

– Бойся! Бойся, людоед! Изжарил, убил Арпина. Бойся меня!..

Ударившись с разбега теменем об камни устья пещеры, Виргиний лишился чувств, не сознал, как выбежавший за ним друг отнес его прочь от этого ужасного места, до сих пор не понимая, что тому причиной, но привести его в сознание не мог, поспешил скрыться, заметив, что краем трясины идут люди из местных поселян, среди которых одни уважали Руфа, как жреца, за «святость» жизни, а другие ненавидели, как вымогателя всяких поборов с подкладкой религиозных предлогов, тирана своих рабов и членов семьи, выдумщика ложных чудес Юпитера, заведомо вредного наушника, увидающегося около царского зятя.

ГЛАВА VIII

Среди друзей и недругов

Виргиний очнулся в толпе сторонников и противников его деда, когда увидевшие его уже успели позвать других, а те – оповестить все соседство.

Многие из этих поселян попали сюда по той причине, что возвращались мимо трясины из Рима с базара, где они узнали о катастрофе на царской тризне в искаженном виде, как и о ходе восстания в союзных этрусских городах, сделавших набег на римские земли.

Окружив лежащего в обмороке юношу, они спорили, вырывая из рук одни у других доставшийся им трофей – окровавленный плащ Арпина, о судьбе которого обе партии были согласны, полагая будто Виргиний убил его, навязавшись дружески проводить вон из города, коварно обещав защиту, подученный на это своим дедом или сыном Вулкация.

Поселяне кончили спор тем, что разодрали плащ надвое: одни, готовясь нести эту ветошку вместе с больным Виргинием на виллу фламина, бывшую подле земель Турна, а другие решили нести доставшийся им отрывок в Рим к Скавру, как несомненное доказательство гибели его сына.

Все они одинаково шумно привязались к очнувшемуся Виргинию, одни с льстивыми поздравлениями выполненно-

го кровомщения за Вулкация, а другие с угрозами, что погубление сына Скавра ему даром не пройдет.

Живший лет за 200 до этого времени третий властитель римский от Ромула, царь Нума Помпилий, всеми силами старался смягчить нравы народа, отменил некоторые варварства в жертвенной обрядности и обиходных семейных обычаях, но обязанность родового кровомщения он вывести не мог⁴.

Так поступали и все, после него бывшие, цари.

Все, что было в их силах, они делали для обуздания люто-сти вкоренившихся традиций: не принимали активного участия в таких делах, относились к ним пассивно, холодно, не давали помощи мстителям, а в спорных пунктах, при подаче голосов на совете сенаторов, защищали подлежащих родовой мести, выгораживали, уговаривали мстителей на мир и прощение.

Так поступил и мудрый Сервий теперь: он не послал никого от себя искать скрывшегося Арпина, несмотря на все приставания Руфа, Марка Вулкация, Тарквиния, Клуилия, но ни он, ни страшно испугавшийся за участь своего сына Скавр, ни любивший Арпина Турн, не могли воспрепятствовать Фламину искать невольного убийцу его родственника и казнить его, каким хочет способом, если найдет, так как тот, по рождению от самнитки, был рабом своего отца.

Царь мог воспретить только формальную казнь, даровав-

⁴ Vendetta и до наш. дней составляет национальную черту жизни итальянцев.

ши помилование, но это не спасало от тайной расправы жертву родовой мести, освященной у всех племен Италии традициями прадедовской старины, укоренившейся до того прочно, что эта месть стала одним из главных стимулов жизни уважаемого человека, его первой обязанностью, от которой он даже не имел права отказываться.

В первые минуты пробуждения от долгого обморока Виргиний не мог сообразить всех обстоятельств дела, о каком ему говорят, не понимал, с чем его поздравляют и за что грозят, но потом его, никогда не лгавшего, возмутило общее убеждение этих людей в том, чего он не делала.

– Я не убивал Арпина, – говорил он одинаково решительно и сторонникам и врагам своего деда. – Я не мог бы его убить: Арпин был моим единственным другом; я люблю его больше своей жизни; я отдал бы себя за него в жертву чудовищу, если бы оно об этом спросило меня прежде, чем растерзать Арпина. Мстить за вдового мужа моей тетки, Вулкация, ни сын его Марк, ни дед мой Фламин не принудили бы меня ничем на свете, у них могли найтись другие мстители.

Его рассказ про явившегося ему Инву, в сущности, не содержал ничего невозможного для этих простодушных, наивных поселян, веривших на слово во всякую всячину вроде леших, оборотней и т. п., если бы это произошло в иное время, но теперь и та и другая партия слушателей заподозрила в рассказе желание свалить на Инву гибель Арпина из боязни вызвать на себя родовую месть его отца, хоть пропавший и

считался невольником, но все знали, был любим им, как сын.

Притом, рассказ, благодаря болям раненной головы и потери крови, вышел у юноши до того бессвязным, сбивчивым, что он и сам в конце готов был убедиться, что все это ему приснилось, если бы не доказывал реальности дела захваченный им плащ Арпина.

Он повел поселян в горы, но не мог найти таинственной пещеры, не зная, что ее обитатель, из опасения быть открытым чужими людьми, закрыл устье изнутри камнями, приспособленными для этого его предместниками до того искусно, что никакого следа отверстия в горе нельзя было найти тому, кто не знал особых примет его.

При таком результате дела Виргиний сам поверил в гибель Арпина от его руки, но не мог этого ясно припомнить, не мог объяснить, как он одолел такого силача и куда девал его тело.

– Верно трясина засосала без следа, – разъяснил ему один поселянин.

– Если я его убил, то не нарочно, – ответил Виргиний на это, – я вам дам, какую хотите клятву, что нарочно я этого не делал, если убил, то в бреду, в беспамятстве от моей раны, не знаю, как и когда.

Доставленный в усадьбу Руфа, Виргиний расхворался тяжелой болезнью, которую в наш век назвали бы нервной горячкой, а тогдашние, более наивные люди судили по другому: Фламин, приехавший после похорон зятя, стал ласкать своего внука, как не ласкал никогда, уверенный, что тот из

преданности к нему и фамильной чести убил Арпина, совершил родовую месть, по обязанности патриция, не дожидаясь приказа о том главы рода, но отрицает не из боязни, а из нежелания принять месть от Скавра из-за раба.

Фламин приписывал болезнь тому, что Виргиний слишком насадился в борьбе, одолев силача каким-нибудь, конечно, особенным способом, и приставал к больному с вопросами:

– Скажи, как ты его хватил? Чем? Куда?

На все это Виргиний повторял, что ничего не помнит, и принимался рассказывать об Инве, заканчивая горьким плачем с возгласами:

– Неужели я убил моего Арпина, убил сам, своею рукою, коварно, умышленно? Неужели я задушил его при дружеском объятии на прощанье? Нет, нет, я этого не делала! Его убил медведь, леший, или разбойник, одевшийся в шкуру медведя, кто хотите, только не я.

Фламин не верил в это приключение с оборотнем, и хоть и допускал, что в тамошних дебрях сонного Виргиния мог облапить обыкновенный медведь, мог и разодрать его рану, и убежать при появлении поселян, не успевших его видеть.

Про скрывавшегося разбойника Авла они ничего между собою не говорили; Виргиний опасался выдавать деду, что он подслушал его разговор с царевичем, а Фламин полагал, что служащий ему негодяй не вмешается в дело, не порученное ему, хоть бы и касавшееся угождения спасшему его от

казни жрецу.

Лечившая Виргиния дряхлая Стерилла, экономка этой усадьбы, прежде бывшая его нянькой, подозревала участие Авла, о котором не только знала, но даже сносилась с ним, тайно передавая господские приказания этому исполнителю роли лешего, но посторонним говорила, будто искренно убеждена в участии настоящего Инвы, полудуха-оборотня, принявшего сходство с Арпином, чтобы отуманить память Виргиния, уже после того, как тот убил своего друга по приказу деда – Фламина, совершил родовую месть на Вулкация.

– Инва, – говорила старуха, – сделал такое наваждение, чтобы избавить моего молодого господина от угрызений совести, от скорби, раскаяния, а тело убитого съел, потому что чуть не 200 лет, с самых дней царя Нумы Помпилия, Инву чествуют только трупами заколотых животных; добрый царь Нума запретил человеческие жертвы в Риме, а там-то и находится самое любимое логовище Инвы, – страшная, волшебная пещера в Палатинском холме. Латины, любившие римского царя, согласились с его волей, перестали приносить Инве в жертву людей и в деревнях.

Леший соскучился без человечины, какую привык пожирать искони веков, и задурил: стало страшно ходить в Рим мимо его пещеры; высовывается чудовище из ее недр, машет лапами, языком щелкает, воет; иногда там люди гибнут, пропадают; Инва без всяких обречений жертвенных убивает и съедает лих. Все стараются обходить далеко, другою доро-

гой, это место Палатина, а среди деревенских давно носится молва, будто Инва ворует себе, а иногда и открыто грабит жертвы, приносимые иным богам, особенно людей, убитых на алтарях... ведь, во всем-то латины запретов царя Нумы не послушались... в деревнях это еще водится.

Дряхлая Стерилла болтала про лешего чаще других тамошних поселянок, потому что у нее была особенная причина: Стерилла ненавидела всю семью управляющего Турновой усадьбы, по многим причинам, возбуждавшим ее зависть.

Ее муж Антил, служивший у Руфа в усадьбе управляющим, два года тому назад упал с дерева и убился до смерти; Стерилла была непоколебимо убеждена, что это случилось оттого, что жена соседского управляющего позавидовала ее благополучию, сглазила, наколдовала ей беду.

Овдовевши, Стерилла, оставленная в экономках, должна исполнять приказания раба, который при ее муже служил дворником.

Если умрет скоро соседний управляющий Грецин, его жена не перестанет величаться и верховодить на вилле, будет лишь не женой, а матерью управляющего, давно намеченного господином из ее сыновей, а у Стериллы только одна дочь и то невзрачная, злая, рано постаревшая, и даже полоумная, ставшая колдуньей.

Стерилла злилась, злилась, и найдя удобное время, отравила соседку Тертуллу, но та не умерла, возбуждив ее ненависть.

висть еще хуже.

Дочь соседского управляющего все хвалят, превозносят, как самую красивую и умную девушку того округа; Виргиний уже два года любит ее до безумия.

Дочь Стериллы обольстил Марк-Вулкаций и безжалостно, холодно бросил. Уж год, как между ними происходят невыносимо-тяжелые сцены перебранок, упреков, жалоб, угроз.

И эта Диркея и сама Стерилла, обе занимались колдовством.

Таких особ римляне обыкновенно называли Сивиллами, но глубоко почитали только одну, – жившую в Кумском гроте около Неаполя.

Кроме этой волшебницы, в истории знамениты еще Сивилла эрифрская, предсказавшая троянскую войну, Сивилла фригийская и геллеспонтская, но все они жили еще до основания Рима.

В эпоху последних царей Рим и его деревня были два дела разных: солидарность между ними признавалась необходимою только в делах государственных, а культ в каждом городе, даже в каждом деревенском округе, был свой; жители имели право не подчиняться Риму в верованиях и обрядах.

Узнав, что злая Туллия овдовела, а Марк Вулкаций лишился отца, получив громадное наследство, покинутая им, оттолкнутая с презрением Диркея приписала, как ее мать, и все это колдовству соседки Тертуллы.

Она вбежала к своей матери, точно бешеная, крича, что

все надежды, все хорошее для нее рушится, валится, летит в бездну. Ненавистная Амальтея будет по-прежнему видаться с обожающим ее Виргинием, а к Диркее любимый ею Вулкаций больше не придет, прогнал, вытолкал ее от себя, приехав навестить больного Виргиния после похорон отца.

Вулкаций даже поддразнил Диркею, что теперь, при помощи деда Фламина, ему открывается возможность жениться на овдовевшей царевне, равнодушной к нему.

– Уймись ты, полоумная! – останавливала ее Стерилла. – Разве не знаешь, как нам, рабам подневольным, опасно болтать про царей и господ?!

Но Диркея не унималась; не слушая никаких утешений и окриков матери, она принялась колдовать, накликать порчу и всякие беды на царевну Туллию и семью соседского управляющего.

Глядя на полоумную дочь, Стерилла увлеклась, стала учить ее ходу обрядов и подсказывать заклинания.

Они вместе повернули физиономиями к стене и вниз головами глиняные болваны, – изображение Ларов и Пенатов, стоявшие на кухонной печке в их квартире, потом замесили тесто с опилками, навозом и всякой другой несъедобной дрянью, принесли его в жертву на очаге, истыкали деревянными спицами и рыбьими костями, и бросили в огонь, бормоча бессвязный вздор с призыванием пагубы на людей, вызвавших зависть, ревность, ненависть этих полоумных злодеек, а ночью отправились на болото выкликать лешего и долго

совещались с явившимся чудовищем о средствах погубления царевны и семьи Грецина, причем, несмотря на темноту и осторожность играющего роль, легко заметили, что перед ними не Авл, а совсем другой представитель медвежьей породы, похожий на своего предместника только одной силой.

Колдуньи испугались и решили сообщить это своему господину, но Фламин не поверил им.

ГЛАВА IX

Дверь Януса

Усердный сторонник Тарквиния, Фламин Януса Тулл Клуилий, был мрачный старый фанатик.

Этот человек любил слушать чужие рассказы, а еще охотнее говорил сам про то «доброе старое время» до Нумы, когда в Риме и во всем Лациуме богам беспрестанно приносили в жертву людей по всякому поводу, – закалывали на алтарях, жгли, топили.

– Оттого у нас в Риме Инва перестал являться видимым образом, – говорил Тулл Клуилий. – В деревнях хоть и не ему, а другим богам, все еще изредка отдают людей, человека три в год, – леший бродит там в надежде стянуть себе чужую добычу. Не раз видал я его, лохматого, серого, как он возится в деревенской пещере, лезет из-под земли за жертвой, а у нас в Риме давно его никто не видал, и рев-то его не всегда слышен, да и жертву-то не сейчас берет; иной раз осел дня три пролежит в Палатинской пещере и неведомо, кто разнесет его по кускам – Инва ли, или волки с птицами.

В деревнях иное дело; слышал я, что недавно случилось в том округе, где находятся поместья Руфа и Турна: – попался Инве человек, – живо уплел его, сожрал. Зубы-то у Инвы железные, а язык-то медный, красный. Дайте ему в Палатин-

скую пещеру связанного пленника или преступника – мигом сожрет.

Клуилий клялся обоими лицами Януса, что человеку дня не пролежать в Палатинской пещере, но царь Сервий слышать не захотел о принесении человеческой жертвы перед началом войны с этрусками, при обряде открывания двери храма Януса.

Тарквиний, напротив, отнесся с полным сочувствием к мнению фанатика и обещал ему с клятвой непременно принести человеческую жертву Инве, лишь только формально получит от царя власть с саном регента, правителя Рима.

Этот гордый сын царя Приска был уверен, что сенаторы, вопреки жрецам, не позволят ему возобновлять отмененных Нумой жестоких обычаев старины, но так как боги любят кровь только невинных, то и Тарквиний вознамерился совершить акт жертвоприношения под видом казни без вины, по одному подозрению, осудив, кого удастся, из нелюбимых им особ.

После того, как фециалы, больше месяца тому назад посланные к этрускам⁵, вернулись, оскорбленные их приемом, получив ответы дерзкие, бросив копье через их границу, должен был совершиться обряд начала войны на вершине холма Яникула, где находился храм Януса, бога всякого начала.

⁵ О чем сказано в нашей предыдущей повести «Вдали от Зевса!..»

В этом, довольно обширном, каменном здании было несколько входов с навешенными двустворчатыми дверями; из них каждый вход имел свой смысл и значение.

Один из этих входов затворяли на закате солнца в последний день кончившегося года и открывали на восходе в первый день нового⁶.

Другие двери служили для молящихся простых людей, затворяемые и открываемые для них ради начала каких – либо дел, на которые они явились просить помощи.

Главные двери были царские.

Этого входа жрецы не касались; их затворял и запирали царь при заключении мира, открывал после объявления войны.

Утром на заре к Яникульскому храму ожидалась процессия; во главе ее должен был шествовать царь с верховными жрецами, как это происходило во время жертвоприношения при отправлении посольства трех фециалов к этрускам, только теперь все эти особы имели на себе военную одежду.

Турн и Скавр, которых Тарквиний решил непременно погубить после отъезда царя, несмотря на все хитрые интриги его и помогавших ему двух фламинов, ехали с Сервием на войну, таким образом ускользая от расставленной им сети.

Тарквиний не мог об этом думать без злобы, но жрецы увещевали его не унывать, не терять надежды на возмож-

⁶ Это имеет донныне свои отголосок у римских католиков в обряде открывания и замуровывания юбилейной двери при начале каждого столетия.

ность благоприятного случая.

Вулкаций и Брут тоже отправлялись на войну.

Эти молодые римляне были лишь сотниками без надежды на скорое повышение, нелюбимые царем за дурную молву, сплетавшую их имена с похождениями его овдовевшей дочери.

Вулкаций уезжал очень охотно, чтобы избавиться от приставаний надоевшей ему невольницы Диркеи, наводившей на него страх своими угрозами, и от деда Руфа, помыкавшего им, как рабом.

Вулкацию невыносимо опротивело интриговать в усадьбе Турна, болтаться по деревням под именем невольника Верания, переодевшись в ветошку, с перекрашенными волосами.

Возненавидел Вулкаций и Тарквиния, с которым прежде был близок до дружбы, возненавидел и овдовевшую Туллию, в которую прежде был влюблен.

Возненавидел он этих людей за все способы унижения его патрицианского достоинства, какие терпел уже давно, особенно тяжело стало казаться это ему теперь, после смерти отца, когда он сделался, хоть и не главою, так как старшим в их роде был дед Руф, но все-таки более заметным человеком, чем прежде, Вулкаций согласился бы даже уехать из Рима навсегда, если бы это было можно.

В его молодой душе поднималось сознание своей порочности, желание сбросить, как давящий кошмар, всю мерзость того, что он прежде считал наслаждениями, но он не

знал, как это сделать, как выйти из засосавшего его омота интриг, где найти опору, дружеский совет.

Хорошие люди Рима чуждались Вулкация, как вредного интригана, ставшего известным всему городу с самых дурных сторон, ему ни в чем не верили, его боялись.

Вулкаций с тоскою глядел на своего двоюродного брата, тоже в ожидании процессии бродившего по священной роще, и размышлял невольно о том, что этот Виргиний уцелел от нравственной порчи, остался чистым, тогда как он сам запутался до безвыходного положения в житейских тенетах интриг своего деда и любовной страсти двух злых женщин, откуда ему один исход – смерть.

Вулкацию вспоминались недавние сцены Руфа с его младшим внуком. Старый Фламин приказал Виргинию остаться дома именно потому, что юноше хотелось стать воином. Дед всегда поступал наперекор его желаниям.

– Ты говоришь «хочу сражаться», – возразил он Виргинию. – А я говорю «ты будешь приносить жертвы». Ты говоришь «хочу быть воином», а я отвечаю «ты будешь жрецом».

Вспоминая все это, Вулкаций невольно усмехался, но его усмешка выходила горькою.

Долговязый и бледный, он никогда не отличался крепостью здоровья, а нравственная порча последних лет в конец расшатала его хрупкий организм. Едва достигши своего 25-го года, этот юноша уже чувствовал себя разбитым, сознавал в груди зародыши чахотки.

– Гражданин-патриций, – приставал к нему в роще какой-то грек, протягивая руку за монетой, – позволь отгадать твой сон, скажи мне его.

– Не помню, – отозвался тоскующий юноша, – снилась какая-то неразбериха.

– Не помнишь... жаль!.. А не снился ли тебе лев?

– Может быть.

– Это к благополучию, гражданин, и стоит асса за истолкование.

Вулкаций дал греку асс, мелкую монету, чтобы отвязаться, и не стал толковать с ним, тогда как прежде, бывало, сам подзывал таких толкователей и глумился над ними.

Разносчики и торговки навязывали ему цветы, фрукты для принесения в жертву или угощения приятелей; Вулкаций ничего не покупал, отворачивался.

Все реже и реже бывало ему весело; все чаще и чаще глодала его болезненная тоскливость, от которой он не находил себе ни места, ни развлечения.

Всего два-три года времени потребовалось, чтобы этот цветущий весельчак угас, превратившись в нытика.

Когда требовалось ходом порученного ему дела, Вулкаций наружно казался разбитным говоруном-краснобаем, хохотал и прыгал, как в давние годы своих искренних увлечений идеями деда, но внутренне его неотступно точила совесть, угнетала мысль о массе оружия, зарытого им по приказу деда, в свинарне Турна с помощью подкупленного раба, которого он

недавно сгубил, внушив принести в жертву.

Фламин ничего не разъяснял ему о сути подводимой интриги, но Вулкаций догадывался, на что это надо старому злодею, и люто страдал без отрады, не зная, чем угомонить своего неусыпающего червя – совесть.

Он попробовал излить свои муки царскому родственнику Бруту, но не получил утешения и от него.

Брута считали эксцентриком, чудаком, считали и одним из фаворитов овдовевшей Туллии. Вулкаций нашел в нем еще более несчастного человека, нежели он сам.

Брут страдал психической болезнью, которую можно назвать раздвоением воли, внутренним, душевным междоусобием его существа: он ненавидел Туллию всеми силами сердца, изо дня в день сильнее желал убить ее, но точно также изо дня в день сильнее любил ее, исполнял все ее прихоти, наслаждался своим моральным рабством, терзаясь, едва уходил от этой мучительницы в тиски еще более лютых мучителей – угрызений совести.

Брут случайно подглядел, как Туллия отравила своего мужа⁷, но не имел силы воли донести на нее ни царю, ни сенату, ни плебсу на комициях, а лишь сказал об этом другу своему Спурию уже много времени спустя, когда стало поздно доносить на злодейку.

Услышав признание Вулкация, что тот радостно согласился бы уехать на свободу из Рима навсегда, Брут сознался ему,

⁷ В рассказе «Во имя Зевса!...».

что он умрет, если потеряет надежду рабствовать в Риме.

Туллия звала к себе Вулкация ежедневно; Брута после единственного любовного свидания, данного ему в роковую ночь гибели Арунса, она не ласкала и ни единый приветливый взгляд ядовитой оболстительницы больше не обратилась на несчастного «Говорящего Пса», как Брута прозвали в Риме.

Пред храмом Януса должен был совершиться мрачный обряд, которому соответствовала и обстановка дикой местности Яникула с его священной рощей, столь не похожею на многолюдный Форум пред Капитолием, где отпускали фециалов, и самая погода, не имевшая ничего общего с зарей тогдашнего веселого, теплого, осеннего утра.

Небо было теперь мрачно, беспрестанно меняя свой колорит; его покрывала черная туча, сквозь прорези которой то сверкала молния с отдаленным глухим раскатом грома, то светилась ужасная, кровавая заря с диском солнца без лучей, еще больше, чем тучей, затемненным дымом от множества разложенных в роще и по склонам холма жертвенных и пиршественных костров для прощального угощения римских воинов.

Молчаливые римляне были не слезливы; они рыдали и вопили, как им хотелось, дома, в ограниченном кругу родных и друзей, но плакать публично при расставании с милыми сердцу у них считалось за позор.

Остававшиеся родители сыновьям и жены уезжающим му-

жьям говорили, указывая на щит, который вручали:

– Возвращайся домой с ним или на нем!

То есть, возвращайся не беглецом, не бросив щита пред врагом в знак сдачи, просьбы о пощаде, а победителем, или убитым, принесенным домой со щитом под голову, на носилках из копий.

В священной роще Януса было темно, как вечером; под тенью ее вековых деревьев багровое зарево костров заменяло тусклый диск поднявшегося светила, утонувшего в густом тумане и черной туче.

Там всюду возились люди, толклись, ходили, бегали с места на место, то группируясь дружескими кружками, то разбредаясь врозь по всем направлениям; многие бродили одиноко.

Это было грустное, молчаливое сборище; там не было ни плясунов, ни иных потешников; знахари и волшебники сновали в среде собравшегося народа, придавая дикой картине оттенок еще более таинственный, зловещий, своими кривляньями, завываньями, вычурными телодвижениями, совершением странных обрядов.

Один потрошил живого поросенка, гадая по его кишкам; другой вырезывал сердце из петуха или набивал кошку лягушечьими костями; иные истязали детей или даже сами себя, поили желающих отваром разных трав, производящих галлюцинации; они качались на древесных ветках, повиснув руками, кувыркались, с диким воем подкатываясь под ноги

идушим, становились на свою голову.

Среди них попадались сивиллы, старавшиеся подражать знаменитой Кумской волшебнице, но вовсе непохожие на нее.

Это были горные дикарки, преимущественно с юга, где они ютились по пещерам, вблизи от колоний Кумы, населенной греками, большею частью, безобразные старухи-гадалки, растрепанные, в лохмотьях; они ничего не брали за прорицания, фанатички, почти сумасшедшие, искренно считавшие себя выше остальных смертных, довольствовались этим сознанием своего превосходства, уверенностью в близости к богам, наслаждались властью над умами суеверных людей, даже царей, не замечая того, что часто сами становятся орудиями интриги разных хитрых личностей, преимущественно из жрецов.

Из тогдашних гадалок одна кумская волшебница брала деньги за прорицания, но тоже не себе, а на храм Аполлона Дельфийского, повинувась жрецам этого греческого прорицалища, бывшего на одном из островов Средиземного моря.

Среди этих полоумных кликуш по роще Яникула бродила несчастная Диркея, когда-то любимая, оболыщенная коварным Вулкацием, и безжалостно отвергнутая ради Туллии, которую он тоже быстро разлюбил; ревнивая невольница не верила этому и искала случая известить овдовевшую царевну, но та не допускала к себе гадалок, не любя ничего сверхъестественного, боясь его.

Пробравшись к презиравшему ее юноше, Диркея и теперь снова пристала к нему с упреками и угрозами за неверность, обман.

– Марк! – шепнула она. – Не пренебрегай мною! Я могущественнее, чем ты полагаешь.

Вулкаций не ответил, отвернувшись.

– Марк, берегись!

– Чего? Мне стоит пожаловаться деду на твои пристава-
нья, и он велит утопить тебя в болоте.

– Марк, я не лгала, когда клялась тебе, что настоящая кум-
ская Сивилла передала мне часть своей силы, нарекла меня
своей избранницей, своей тенью. Мне стоит пожаловаться...

– Этой волшебнице? Разве ты сносишься с нею по возду-
ху? Кумы так далеко, что...

– Не ей, а здесь...

– Алву что ль?

– Алв ничтожество, но есть человек другой, близкий и те-
бе... твой дед не посмеет утопить меня... стоит мне пожа-
ловаться тому, кто могущественнее, и он сам утопит твоего
деда в болоте.

– Тарквиний?

– И Тарквиний ничтожен пред ним.

– Клуилий?

Диркея вместо ответа запела мрачным мотивом импрови-
зацию о своем горе:

*Скоро измена
Кару найдет;
Друга злодейки
Инва пожрет.*

** * **

*Слушайте!.. Слушайте
Весть от богов!..
Злого изменника
Сверзите в ров!*

** * **

*Как солнышко в полночь
Не даст вам лучей, -
Разлучница сгинет
От острых мечей.*

** * **

*Отмищу за измену,
За горький позор!
Своею рукою
Свершу приговор!*

Многие, отвернувшись от святилища Януса, слушали это бессвязное напевание, принимая за предсказания, относящиеся к набегу этрусков. Между ними был и Тарквиний; ему некогда было бродить в народе; надо было вернуться в храм для ожидания царя, но он успел вывести свои заключения из услышанного прорицания, дал золота Диркее, говоря:

– Будь благосклонна ко мне, советница от Зевса!

– К тебе... к тебе... – отозвалась Диркея отрывисто. – Но не к ней, не к изменнице, не к разлучнице!..

– К какой? – спросил Тарквиний, но Диркея моментально убежала.

ГЛАВА X

Объявление войны

Услышав раздавшиеся вдали мрачные звуки военных труб, народ умолк в почтительном ожидании; лишь кое-где продолжался шепот, в котором преобладали толки о неблагоприятных знаменьях: о красноте утренней зари, о бледности солнечного диска, о том, что дым разведенных костров расстилается вниз, к земле, царству мертвых.

– Царь будет убит на этой войне. – Пророчили там и сям Сивиллы.

– И много, много прольется крови понапрасну, – прибавляли бродячие знахари, – много будет печали, слез.

– Но коршун вьется в поднебесье, – возражали им авгуры-гадатели, – все-таки царь победит.

– Коршун не орел, – шепнул сам с собою Брут, – коршун это Тарквиний, префект-тиран, которому царь отдал Рим на растерзанье и я сам вместе с другими виновен в этом бедствии, угрожающем Риму! Я сам, Спурий, и другие... не разобравши всех сторон дела, мы настояли, чтобы Тарквиний уговорил своего тестя начать эту войну в отмщение этрускам за сделанный набег... О, как мы недальновидны!

Но этому умному царскому родственнику не пришлось долго оплакивать свою ошибку, потому что он увидел ше-

ствие ожидавшейся процессии.

Дряхлый царь Сервий бодрился, сколько мог; Турн и Спуррий шли подле него, но не вели под руки, потому что при военной одежде лицо царя не было закрыто.

Эмилий Скавр, при сане Великого Понтифекса, бывший также главнокомандующим, тоже шел без помощи внуков.

За ним шел Тарквиний.

Множество жрецов и военных высших рангов замыкали шествие, но женщины – ни царевны, ни жрицы – не участвовали в нем.

Царь с величавою медленностью поднялся по лестнице храма Януса к главной двери, недавно запертой им после войны с рутулами.

Обернувшись лицом к оставшимся внизу участникам и зрителям обряда, он произнес длинную речь, в которой повторил все, сказанное им при отсылке фециалов, прибавив их рассказы о дурном приеме этого посольства у этрусков, и перечислив все причины, ссылаясь и на желание народа, выраженное в сенате и на комициях, заключил речь изъявлением своей воли:

– Вследствие всего этого я решил начать с этрусками войну!..

Военачальники, жрецы и народ не огласили роши кликами, а лишь тихо, мрачно отозвались одним словом:

– Да будет!.. (Ita!) Так!.. Да!..

Поданным ему ключом царь отпер вход Янусова храма и

сильно толкнул внутрь его двери, отчего обе половинки широко раскрылись, но одна от реактивного сопротивления заржавевшей петли или покوروبившись от сырости, или от иной причины, затворилась обратно.

– Дело не дойдет до битвы! – шепнул Спурию Турн. – Этруски покорятся, а я употреблю все силы склонить царя к милосердию. Мой зять Авфидий, ты знаешь... я боюсь за сестру...

Но говорить дальше ему не пришлось.

Царь дал знак и все пошли к нему приносить жертву Янусу, проходя полуотворенную дверь, так как поступать наперекор «воле бога», выраженной сопротивлением дверной створки, было нельзя.

– Если бы обе половинки захлопнулись обратно, Сервий ни за что не согласился бы воевать, – шепнул своему слуге Брут, толкшийся в задних рядах. – Если бы Тарквиний этого не хотел, он легко уговорил бы Клуилия положить камешки к стене.

После жертвоприношения в храме, куда низшая братия оруженосцев, декурионов и даже сотников не допущена, Сервий вручил Тарквинию символы его звания правителя, состоявшие из жезла, связки палок с воткнутым топором, особого покроя мантии и повязки, похожей на царскую.

Выведя его из храма, обнимая левою рукою, царь указал правою на него народу:

– Квириты, вот ваш правитель; повинуйтесь ему, как мне,

пока я отсутствую!

На это последовал, как и в первый раз, краткий отзыв:

– Ita!.. (да будет так!..)⁸.

И все тихо разошлись к приготовленным местам пировать по случаю объявления войны.

Вино, конечно, в конце обеда развязало бы языки говорунам, спорщикам, рассказчикам, и пир мог был завершиться катастрофой, подобной смерти Вулкация-отца на тризне, но начавшаяся гроза с жестоким ливнем разогнала публику из священной рощи.

Багровый круг осеннего солнца скоро погас, утонув в пучинах мрачной тучи; стелящийся перед дурною погодою дым разъедал глаза пирующих.

– Ты уговорил меня склонить через Тарквиния царя к мести этрускам, – говорил Брут Спурию, уходя домой. – Если бы я знал...

– Что? – спросил тот тревожно.

– Если бы знал, что предвещают эти зловещие приметы...

– Да... веет чем-то нехорошим.

– Здесь веет всеобщую гибелью, мой добрый друг.

⁸ Найденные археологами надписи доказывают, что в эту эпоху латинский язык довольно сильно отличался от позднейших времен, как орфографией, так и произношением слов, но в главной сущности был таким же.

ГЛАВА XI

Палатинский грот

После отбытия царя с римской знатью из храма и роши, фламин Януса Тулл Клуилий долго шептался под мрачными сводами этого здания со своим другом фламином Юпитера Руфом и его родственником Квинтом Бибакулом.

Снаружи храма, сидя на ступеньках крыльца, дожидался окончания этого совета Марк Вулкаций.

Изябший на холодном ветру, измоченный проливным дождем, бледный, исхудалый юноша напрасно старался согреться закутыванием в черный суконный плащ, ежился и дрожал, проклиная со скрежетом зубовным совещавшихся стариков, не смея ни проникнуть к ним без зова, ни уйти домой без их разрешения.

Уже наступал вечер, когда Руф наконец вышел ко внуку и дал приказания, после чего тот встал и пошел.

Дождь мочил его; ветер пронизывал до костей; желающий себе скорейшей смерти юноша апатично относился к этой слякоти римского ноября, пока не услышал сзади себя чьи-то шаги; за ним кто-то гонится. Вулкаций, оглянувшись, узнал Диркею.

– Чего тебе надо? – сказал он своей отвергнутой конкубине желчным, тоскливым тоном. – Я ведь сказал наотрез, что

между мною и тобою все кончено.

– Марк, куда идешь ты? – спросила Сивилла, как будто не слышав его окрика.

Ее голос мрачно прозвучал, гулко отозвавшись эхом в слуховых окнах домов города.

Вулкаций не ответил, ускорив шаги. Ускорила шаги и Диркея. Молча спустились они с Яникула, молча и быстро поднялись по нескольким виам, ведущим к Палатину.

На улицах Рима уже было пусто, темно: граждане лишь кое-где ужинали с освещенными окнами и эти редкие тусклые лампы-лючерны простонародья уныло мерцали, не разгоняя мглы тумана римской осени.

Случалось, лица идущих обдавала внезапно горячая струя воздуха из окна кухни или булочной, причем едва не тушила факел, которым молодой человек освещал себе дорогу.

– Я догадалась, Марк, что ты идешь на Палантин, – заговорила снова Диркея, но Вулкаций не отвечал ей, ускоряя шаг, так что эта женщина едва поспевала за ним.

У одного казенного склада часовой окликнул их.

– Кто идет?

– Сивилла, – ответила Диркея.

– Стой! Кто ты?

Но у нее было такое страшное лицо с горящими глазами вне орбит, с растрепанными волосами, космы которых походили на змеи, что часовой, как от Медузы, зажал себе глаза с глухим криком ужаса.

Вулкаций и Диркея свернули оттуда влево по переулку, ведущему на Тибр, и вскоре очутились в прибрежной местности, поросшей кустарником.

Пред ними высился холм Палатина, тогда еще далеко не весь застроенный домами римской знати, а напротив, изобиловавший дикими пустырями, где днем бродили свиньи, козы и домашняя птица, а ночью ютились бродяги, бездомные собаки и разные гады.

Там было совсем темно; Вулкаций, усталый, продрогший, голодный, стал спотыкаться, еле двигаясь вперед. Диркея положила ему на плечо свою руку.

– Ты изнемог, Марк?

Он сбросил ее руку, терзаясь угрызениями совести за оболъщение этой женщины, но не в силах любить ее. Его кольнуло в сердце при ее прикосновении.

– Нет, я не изнемог, – возразил он и зашагал быстрее, собравши последние силы.

В темноте безлунной, ненастной ночи они пробирались сквозь чащу кустов по пустырям тибрского берега.

Вулкаций отчасти верил в колдовскую силу своей отвергнутой конкубины; он ненавидел Диркею и боялся ее; ему мерещилось в ужасе от ее близости, будто верхушки деревьев кивают с приветом колдунье, мерещились на их ветвях совы, вампиры, змеи. Он, наконец, остановился, выбившись из сил.

– Я догадалась, Марк, куда и зачем ты идешь! – сказала

Сивилла и сжала ему руку так крепко, что он вздрогнул от боли, но ничего не ответил. – Марк! – продолжала она настойчиво. – Ты идешь к Инве?.. Зачем?.. Опять приказ господина?.. Марк, покинь твоего деда!

Он вздохнул с такою интонацией, что как будто хотел сказать: «я сам хотел бы его покинуть, да не могу».

– Нельзя? – допытывалась Сивилла. – Отчего нельзя, Марк? Ты не связан с родом твоего деда до такой степени, как Виргиний; теперь, после смерти отца, ты можешь стать на отдельное хозяйство; ведь, фламин тебе дед материнский, а не отцовский. Ты считался мальчиком при отце и должен был выполнять все приказы старших; теперь ты сам себе старший, сам можешь завести отдельную семью...

– Взявши тебя вместо жены? – холодно-насмешливо проворчал он сквозь зубы, которые стучали у него от холода и нервной дрожи.

Диркея не ответила, в свою очередь насупившись, поняв, что дала юноше совет против себя, так как жениться, даже в форме законного конкубината, он на ней не мог: раба вступала в брак только с дозволения господина, а Руф этого не разрешил бы ни за что на свете, да и сам Вулкаций не взял бы Диркею уже надоевшую ему.

Они молча подвигались вперед по холмистой местности Рима, спускаясь и поднимаясь среди непроглядной тьмы густого тумана, не разгоняемой тусклым восковым факелом.

В воздухе висела пронизывающая сырость, порывы холод-

ного ветра, налетая со снежных апеннинских вершин, проносились со свистом и треском в деревьях. Яркая молния зимней итальянской грозы освещала на мгновение окрестность; при одном из таких ее сверканий идущие увидели невдалеке от себя зияющее устье огромной пещеры.

– Палатинский грот! – указала Диркея и снова пристала с мольбами. – Марк! Мой все еще милый, все еще дорогой мне Марк!.. Не ходи к Инве! Брось сношения с разбойником Авлом! Ты можешь наврать деду, что хочешь...

– Лгать... я римлянин.

– Но ведь ты без того лжешь... не деду, так другим...

– А тебе этого мало?!

Он злобно оттолкнул прильнувшую к нему колдунью и вошел в грот. Там было еще сырее в воздухе, чем снаружи. Вулканий дрожал с головы до ног. Почва была мягкая, поросшая мхом.

– Зови! – сказала Диркея. – Я спрячусь, если опасаясь, что Инва-Авл не придет при мне, но я» не покину тебя одного с ним, боюсь, что он убьет тебя.

– Авл не забудет, что я спас ему жизнь.

– Разбойники не помнят благодарений, Марк.

– Больше, чем Авла, я боюсь тебя; отравленный кинжал с тобою?

– Он всегда со мной, но теперь его нет; Тарквиний взял его у меня для чего-то уже несколько дней тому назад.

– Я знаю, дед говорил, будто царь хочет, в угоду Скавру,

заставить меня выйти на поединок с Арпином, если его найдут... Но ты добудешь другой...

– Разумеется.

– Мой факел гаснет, и догорел, я не хочу говорить с Авлом во мраке. Разведи огонь.

– Сейчас.

Диркея достала из висевшего у нее на поясе мешочка огниво, зажгла смолистый прут валявшейся хворостины, и замахала им, причем мириады искр полетели во все углы круглого грота, похожего на входные сени, откуда не было приметно глазу не знающих никакого отверстия для дальнейшего хода.

– Костер пылает... зови! – говорила Диркея.

– К чему эта формальность? – возразил Вулкаций презрительно. – Авл отлично знает, что я не придаю ему ни малейшей божественности, не считаю его в самом деле Инвой, гением рамнийских лесов, который когда-то, во дни царя Нумитора, здесь обитал, да куда-то девался потом, исчез... а все Инвы с тех пор – люди, разбойники. Авл увидит сквозь щель разведенный костер и сам придет без вызываний.

Вулкаций не обманулся. Очень скоро после освещения пещеры несколько камней ее задней стены провалились внутрь, снятые прочь богатырской рукой силача, образовав дыру, похожую на логовище медведя.

– Жертва?! – раздался оттуда насмешливый голос и вслед за ним из недр земли покотился такой хохот, что можно бы-

ло думать, его издают тысячи адских чудовищ, вопиющих: жертва!.. Жертва!..

У Вулкация дрогнуло сердце, хоть он и привык к этим отголоскам Палатинского грота, знал, что его дед и другие жрецы лишь играют комедию ужаса ради иных особ, приносящих с ними жертвы, которые верят в Инву. Вулкаций стоял на своем месте, опираясь на секиру с длинным древком вместо трости.

– Я уйду, – повторила Диркея. – Он не будет говорить при мне, но я не покину тебя, спрячусь тут поблизости. Марк!.. Покинь деда и Тарквиния! Делай лишь вид, будто исполняешь их приказы, не то погибнешь.

В тоне ее голоса слышалась угроза.

– Но дед приказал мне настаивать, чтобы леший скорее погубил всю семью Грецина, а это совпадает с желанием твоей матери.

– Моей матери! – повторила Диркея и злобно и тоскливо. – Разве я должна желать непременно того же, чего желает моя мать?! Я не злюсь на Амальтею, она мне на дороге не стоит, я ненавижу не ее, а Туллию, ненавижу и тебя.

Вулкаций отвернулся от колдуньи к провалу грота и стал вызывать Инву. Едва затих его голос, как из провала раздался прежний вопрос:

– Жертва?..

И снова хохот отголосков понесся оттуда, варьируясь на тысячи ладов. Обитатель подземных недр горы зашевелил-

ся в своем логовище и его приближающиеся шаги походили на аплодисменты целой толпы неистовых корибантов сирийской Цибелы.

– Ива здесь, – произнес голос незримого в провале. – Кому нужен обитатель недр Палатина в этот полночный час?

– Невольник Вераний вейент прислан с жертвою от царевича Люция Тарквиния.

Леший захохотал столь дико, что Вулкацию показалось, будто своды пещеры затряслись при этом громоподобном звуке, в котором ясно слышалась радость торжествующей удачи, но в отголосках это исказилось на минорный тон, как будто дети плачут и воют собаки внутри горы.

Вулкаций подошел к провалу и стал передавать мнимому Авлу желания своего деда.

ГЛАВА XII

Глаза змеи

– Молву, будто Арпина убил его внук Виргиний, распускает Фламин, так как посланный Скавром в Самний гонец вернулся с ответом, что его невольника у матери нет, но на самом деле фламин уверен, что Арпина убил ты.

– Арпина убил я!.. – повторило чудовище в провале и запрыгало, хлопая в ладоши, с неистовым хохотом. – То-то, небось, высокородный Руф обрадовался! Да, Арпина убил я. Благородному Вулкацию не придется биться с ним.

– Вот тебе кошелек за это, тут 100 сестерций серебряной монетой.

– Только за одно это дело? А за другие все?

– За то, что ты зарыл в Турновой свинарне, фламин и царевич полагают, что достаточно наградили тебя.

– О, да! В моей пещере много денег всяких и ваших и чужих, но ты скажи мне, Вераний, где мы этот клад зарыли? В каком месте свинарни? Я уже забыл; ночью, ведь, обратно; виделось плохо.

– Забыл? Тем лучше! – воскликнул мнимый невольник. – Не к чему тебе помнить.

Арпин пожалел, что сделал промах, свойственный юности и неопытности его в сравнении с хитрым Вулкацием, но, не

зная, что тот едет на войну, надеялся узнать место тайного клада после, посредством более искусных выведываний.

Он закрыл камнями провал.

Вулкаций оглянулся, чтобы идти домой, но вздрогнул и оцепенел на месте, не в силах отвести глаз от освещенной пламенем костра растрепанной фигуры Сивиллы. Ему мерещились глаза змеи в ее взоре, змеи хищной, ядовитой, готовой, подобно удаву, броситься ему на шею, чтобы вместе с женской лаской задушить отвергнувшего ее возлюбленного.

Он был уверен, что Диркея все еще любит его, но ее страсть не походила на тихое идиллическое чувство Амальтеи к Виргинию. Это была не голубка, не звездочка ясной ночи, а огнедышащая гора, змея.

– Пойдем отсюда! – раздался ее голос, и Вулкаций в паническом страхе отпрянул в глубь пещеры, прижался к камням ее стены около того места, где был исчезнувший провал.

Но так как выход был только один, занятый стоявшею там колдуньей, то ему поневоле пришлось вступить с этим врагом в переговоры, притом будучи в уверенности, что «Инва», которого он считает отъявленным негодяем Авлом, бывшим сторожем Турна, несомненно подслушивает сквозь щели провала.

Вулкаций никогда не клял внутренне своего деда со всеми его интригами так яростно, как в эту страшную ночь, попавши между двумя особами, общество которых едва ли могло быть желательным кому-либо из хороших людей. Вулкацию

вдруг пришло в голову, что брошенная им Диркея могла в отместку стакнуться с Авлом на его жизнь.

– Марк! – снова заговорила она, не дождавшись ответа на свой первый зов, – пойдём отсюда, но прежде дай мне клятву... Дай честное слово римского сенатора... Теперь ты стал богат, после смерти отца, почти самостоятелен. Дед твой тоже скоро умрет. Тогда ты будешь главой своего отдельного рода, старшим. Марк, ты волен жениться на ком хочешь, но клянись мне, что ты не женишься на царевне Туллии.

– Мне жениться на царской дочери? С чего это тебе вздумалось? Я лишь в шутку дразнил тебя этим.

– Клянись, что не женишься, если бы она сама навязалась, если бы даже царь сватал и дед приказал.

– Поступать против деда и царя, сама знаешь, я не могу.

– А я не могу отдать тебя Туллии... кому хочешь, только не ей... ее я ненавижу.

– Я сам ненавижу ее, но клясться не стану.

– Ты ненавидишь... Я этому не верю, если и так, то не зли, не раздражай меня, если ты хоть раз выразишь даже притворное согласие на брак со вдовою Арунса, ты погибнешь... Помни это, погибнешь!.. Прощай, Марк! Ты меня теперь долго не увидишь, но я буду следить за тобой.

Пока длился их разговор, разведенный в пещере маленький костер успел прогореть и тускло чадил от сырости подброшенных веток, так что стало темно.

Вулкаций, собрав все силы духа, направился к выходу, по-

лагая, что колдунья ушла.

В этот момент, когда он готовился перешагнуть камни пещерного устья, яркая молния осветила Палатинский холм. Вулкаций на месте Диркеи увидел пред собою сухую, сморщенную старуху, с длинною, жидкою косицей седых волос, со взглядом еще более злой, ядовитой змеи, больших круглых глаз, желтого цвета, как у кошки; этот взгляд и жег и леденил совесть запутавшегося помощника интриг; это была мать Диркеи, Стерилла.

– Обольститель, погубил, свел с ума, сбил с толку мою дочь! – говорила она, загораживая дорогу. – Теперь хочешь обольщать царевну... ненавидишь ее!.. Так я и поверю этому! Ой, Марк Вулкаций! Играешь ты, играешь женскими-то сердцами, и доиграешься до беды! Диркея давно говорит мне, что леший совсем не Авл, повадка не его, голос не его. Ой, мнится мне, что настоящий-то Инва разозлился на вас, что вы чествуете, как его, простого человека, морочите деревенских, разозлился да и сожрал Авла.

Вулкаций захохотал.

– Брось ты все это, милый мой! – продолжала старуха уже грустно. – С моей дочерью тебе, конечно, век не свековать, возьмешь другую... Но ведь жаль тебя... За прошлое жаль... Не таким ты был, помнится...

– А если я женюсь на дочери Сервия, то в цари могу попасть; возвеличу тогда и тебя и дочь твою.

– Возвеличишь! Не кичись раньше времени! Царем бу-

дешь! С Туллеей! Ее народ ненавидит! На части вас разорвут, в Тибр бросят. Над рыбами царствовать станешь в подводном дворце, это пожалуй сбудется скорее. А уж в Риме-то царем тебе не быть никогда, никогда! Слышишь, дочь-то моя поет...

Вдали раздавалось мрачное пение полоумной девушки:

*Когда в полдень солнце
Не даст нам лучей, -
Погибнет изменник
От острых мечей...*

– Она поет предвещание гибели, – сказал Вулкаций мрачно. – Но мне все равно до этого, когда бы не сгинуть... Я все равно погиб... Все равно мне и до того, кто является в шкуре Инвы – Авл или другой... не разведывай и ты ничего, няня!.. Только внушай лешему, чтобы он скорее сгубил Грецина, требовал его себе в жертву.

– Диркея говорила, будто он об этом обещал стараться и помимо ваших денег... еще бы ему не стараться!.. Ведь, Грецин его отдал в жертвенную корзину деревенским на праздник Терры.

– Я навел Грецина на эту мысль, навел и моего двоюродного братца Виргиния при суде над разбойником.

– Но ты же и спас Авла... ах, Марк!.. Если это не Авл...

– А настоящий леший, ха, ха, ха!.. Поди ты прочь, Стерилла!.. Поди и уйми твою полоумную дочь!.. Она спать не дает

горожанам своим напеванием, дождется, что отколотят ее.

– Скажи ты мне только одно: чего надо твоему деду?

– Разве я это знаю? Надоели мне эти интриги до отвращения!.. Надоело ходить к Грецину под именем невольника Верания и сетовать о сближении его дочери с Виргинием...

– С которым ты сам ее сблизил.

– Сам или нет, все равно...

ГЛАВА XIII

Без ума от страха

Стерилла, не отвечая больше, убежала искать свою дочь, завывавшую на берегу реки мрачные предвещанья.

Страшные удары грома потрясали своды грота Инвы. Вулкацию, сквозь весь его напускной скептицизм, невольно мнилось, что настоящий гений рамнийских лесов может оскорбиться и отомстить за свое поругание дерзким смертным. Он услышал голос чудовища изнутри пещеры сквозь щели заложённых камней:

– Невольник Вераний, я согласен погубить Грецина только с тем условием, если ты мне позволишь унести к себе его дочь.

– Этого фламин не позволит, – возразил Вулкаций, вздрогнув, – если ты похитишь Амальтею, Виргиний убьёт себя с горя.

– Ха, ха, ха!.. Виргиний тоже придет ко мне за нею следом, тебе же станет лучше без него, одному быть наследником деда. Этим я вознагражу тебя, Вераний, за все, что ты сделал для меня.

– Я передам фламину твою просьбу, Инва, но не уверен в успехе.

В гроте было почти совсем темно при едва тлеющих по-

следних угольях костра. Вулкацию показалось, что чудовище отнимает камни внутрь провала, готовится зачем-то вылезти, – пожалуй, кинется на него, станет мучить, вымогать пыткой разные обещания, чего не смело делать при колдунье, могшей позвать людей на помощь. Вулкаций знал, что Авл силач, ему с ним не бороться, а теперь в его мысли заронились подозрения, что это другой человек, если не сам мифический леший.

Вулкаций бросился бежать без ума от страха, сам не сознавая, куда и зачем, спотыкаясь в выбоинах и на камнях. Деревья били его сучьями, репейник и терн цеплялись за его платье; летучие мыши пищали, спугнутые в своем полете этим несущимся человеком, за спиною которого его плащ раздувался наподобие их кожаных крыльев. Вулкацию мерещилось, что они впиваются в его всклокоченные, вставшие дыбом волосы.

Деревья поредели, какой-то широкий луг расстился перед бегущим, вдали мерцали огоньки в домах бедняков, встающих раньше света.

Вулкаций очутился в деревне, точно принесенный туда вихрем зимней грозы.

– Кто тут болтается? – раздался сердитый окрик человека, спавшего на земле.

Не узнав, что это сторож Турновой пасеки, Вулкаций побежал еще шибче без оглядки. После нового окрика вслед за бегущим просвистела стрела.

Наклонная почва помогала бегу юноши. Ему слышалось, что к сторожу на помощь пришел кто-то и кричит: «Вор! Помогите!..» Он не признал, что это голос Прима, сына управляющего. В эти минуты новая мысль поразила Вулкация: у него нет оружия при себе; оно потерялось во время его бега по роще. Он огляделся и с удивлением увидел себя во владениях Турна, подле самой усадьбы. Задыхаясь от усталости, а еще сильнее от нервного волнения, он быстрыми шагами подошел к забору, перелез в сад помещика, подошел к окну строения, где светился огонь утренней стряпни.

Вулкаций влез на дерево и притаился в его густой листве, чтобы слушать и смотреть сквозь окно, что делается среди погубленной им семьи.

Он увидел жену Грецина Тертуллу, главный предмет зависти и ненависти Стериллы с ее дочерью.

Тертуллу прозвали в околотке «Хищная сова» за крючковатый нос при круглом лице и большие глаза, а также за ее злость и постоянное брюзжание на все и всех.

Убитая неприятностями, давно больная каким-то внутренним недугом, эта старуха теперь доживала свои последние дни.

Она качала в люльке ребенка Амальтеи, напевая ему прождущие его беды рабской доли:

*Счел господин наш
Осенний приплод:*

*Дали коровы
Двенадцать бычков;
Дали рабыни
Мальчишек пяток;
И приказанье
Дает господин:
К праздникам резать
Всех новых телят,
Выделатъ икурки
Для тонких ремней,
Свить из них много
Треххвостых бичей,
Бить ребятишек
За всякий пустяк.
Пред господином
И скот и рабы
Участью равны
По воле судьбы.*

Ее муж Грецин зевал, с трудом протирая кулаками глаза, слипающиеся от пьянства до полночи с приятелями из деревенских.

– Старуха, полно ныть! – перебил он невольничью песню жены над внуком. – К чему напоминать и себе и другим то, чего и так не забудем?! Эх, рабская доля!..

И шибко раскачав люльку, он затянул насмешливую рапсодию про гибель Сибариса⁹, откуда вел свое происхождение

⁹ Полагают, что Сибарис razoren в 10-м году, но это не достоверно, как и вся

ние:

*Вы проснитесь, сибариты,
Бросьте гибельную лень!..
Ваши стены без защиты...
Враг разрушит в черный день...
Но напрасно волхв пророчит...
Не проснулся сибарит
И вприсонках лишь бормочет:
Не разрушит... погодит...*

В комнату вбежала Амальтея, ходившая в полутьме наступающего утра в огород за кореньями. Она дрожала от ужаса, едва выговаривая слова.

– Я видела его... Верания... там... на дереве...

– Померещилось тебе, – возразила мать, – что вы, друзья мои, ни говорите, – принялась она рассуждать с сердитым ворчаньем, – а я верю деревенской болтовне, что это оборотень... где там на дереве?

– Вон там... там...

Амальтея указала; все выглянули в окно, но никого не видели, потому что Вулкаций успел спрыгнуть и убежать.

– Никого нет, – заявил Грецин.

– Ты припомни: Инва стал шалить именно с тех пор, как исчез Вераний... и сам господин его за оборотня счел... и в

хронология тогдашней эпохи, а для беллетристического произведения важного значения не имеет.

царской прислуге такого оруженосца, все говорят, нет... откуда ж он взялся и куда пропал? Пицен, который вместо Балвентия, говорив будто недавно ночами леший всю свинарню изрыл... зачем?

– Вестимо, Балвентий напустил его. Соседская экономка Стерилла прямо говорит, что этот «Поросячий Ум» колдуном был, только тайно, – покуда жил, скрывал, а помер – принесли его в жертву, зарезали старшины, это и проявилось.

– Соседи фламиновой усадьбы сплетники... все врут на нас и на всех наших, – заметил Грецин.

Но жена накинута на него еще настойчивее.

– Врут... конечно... только не в этом... Стерилле как не знать?! Дочь-то ее колдунья явная, живет этим... ходит, вишь к ней по ночам сквозь трубу сам Аполлон... да куда там? В этом врет, бахвалится. Станет сам Аполлон к этакой ведьме ходить!.. Оборотень, небось, какой-нибудь, леший из болота, оттого я и верю ей, что Балвентий Поросячий Ум знался с такими силами; отмстил он за себя деревенским и в эти-то два месяца изрядно... примется мстить и нам, увидишь!..

– Как бы ребенка не испортил, мама! – воскликнула Амальтея в еще большем страхе.

– Ребенка... туда бы и дорога твоему ребенку!.. Кинуть бы его в болото... Кем он будет, вырастет? Каким архонтом сибаритским? Под плетью и пощечинами, как твои братья росли? Ты не ребенка, ты себя береги!.. Ходишь к своему

контуберналию¹⁰, а там может очутиться другой вместо него или даже в его виде... Обнимет, станет целовать, будто он, а потом рывкнет медведем, захохочет, да еще, пожалуй, в свое логовище, в болотную тину, унесет и утопит со злом на нас. Помните, Вераний один раз принялся у нас в свадьбу играть¹¹? Тебя с Балвентием чуть не сочетал в шутку? Это он хотел сделать, чтобы дать старому свинопасу власть над тобой, когда тот помрет.

– Прим помешал с рабочими.

– Так вот и теперь... видела ты его на дереве; не диковина будет, если увидишь и еще где-нибудь; надо какие-нибудь амулеты купить.

– У кого, мама? Во всем околотке одна Диркея колдует, да она хороших не продаст нам, а что-нибудь еще хуже, в пагубу.

Амальтея горестно разрыдалась, прижав к себе ребенка, которого кормила, вынув из люльки.

– Не плачь! – сказал отец. – Скоро подойдут «Арвалии», тогда к нам налетят со всех сторон, как мухи к меду, бродячие торгаши, я весь господский подарок, пожалуй, истрачу, накуплю тебе самых действительных амулетов от Инвы и от мертвецов... а потом в февральские Лемурии мы Балвентию

¹⁰ Римские рабыни могли вступать в брак только с согласия господина, а в простое сожитие, – с кем хотели; то и другое называлось *contubernium* и не имело прочности перед законом.

¹¹ В первом нашем рассказе эпохи римских царей «При царе Сервии».

жертву принесем, сардинки с бобами в свинарне изжарим, чтобы его дух не вредил нам.

– Ты говоришь, отец, амулетов ей накупишь, – вмешался Ультим, щепавший лучину у печки, – а мать говорит, леший может оборотнем придти, ну-ко-сь он придет в виде торгаша да и продаст амулет-то не охранительный, а приворотный? Что тогда?

– Что тогда? – отозвался Грецин с горестным вздохом и полным недоумением, – ну, уж тогда-то я не знаю, что будет!.. Спросить бы Тита, сын.

– Прим спрашивал.

– Ну и что же?

– Тит мерекал, мерекал, ничего не сказал... Пожалуй, говорит, Вераний и оборотень, пожалуй, и нет...

– Ну, уж если Тит не понял, стало быть никто не знает.

На несколько минут водворилось молчание, нарушаемое только тихим писком ребенка.

– Как же мы назовем его? – спросила Амальтея, указывая на малютку.

– Как назовем?! – отозвался Грецин с новым вздохом печали, – разве мы смеем называть наших детей, как хотим?!

– Я назвала бы его Мет (metus – страх), – вмешалась Тертулла от печки, – он родился среди всяких страхов и ужасов нашей семьи. Когда же ты нам скажешь, Амальтея, кто отец его?

– Ты сама мне говорила, мама, что рабам лучше не знать

отцов их, не затоскуют, как батюшка по своему Сибарису. Я знаю, что ему хотелось бы дать ребенку не здешнее, а греческое имя: Гектор, Клеоним, Креон... ведь, так, отец?

– Гектор!.. – усмехнулся Грецин с едкой горечью, – да здравствует Гектор-Василид-Василиад!.. А господин велит звать его Радикс (редька), Фукс (черныш), Рубер (красный) или даже Луск (косоглаз), как я недавно нового щенка назвал. Эх, Амальтея!.. Разве я назвал бы твоих братьев Прим и Ультим (Первыш и Последыш)? Нарек бы я их именами моих двух братьев, которые, не знаю, куда девались, – убиты луканцами или тоже изнывают в неволе, как я. Нарек бы я их Евлогием и Евлалием. На девочек господина внимания не обращают, оттого тебя я назвал именем моей матери Амальтеи, которую весь Сибарис славил за ум и красоту. Как живая, стоит она предо мною теперь, и только гораздо моложе, чем помнится мне; вижу я ее в твоём лице, дочь!.. Эх!.. Разве меня-то всегда Грецином звали? Не забыл я мое прежнее имя Василий, но как-то дико даже зваться им было бы, если бы стали опять называть так. Оно у меня записано тут вот, в столе моя хартия всей родословной; отец перед смертью написал. Слушай, дочь, кем был бы я, если бы луканцы Сибарис не разрушили. Вот родословная архонтов Евлогидов – Василидов.

ГЛАВА XIV

Под шум дождя

Старый толстяк достал из ящика деревянные дощечки соединенные в виде складня, и разложив их по столу, принялся вычитывать всякие имена, отчества, дедовства сибаритских архонтов, гептархов, полемархов, и др. вельмож, от которых вел свой род.

– Василий Евлогид Василиад, это я сам, мою собственной особой, – говорил он с самодовольною улыбкой, тыкая пальцем в буквы складня. Евлогий Василид Евлогиад, это мой отец. Евлогий и Евлагий Евлогида, – это мои пропавшие братья... старуха, дети, умоляю, заклинаю вас, если я умру скоро, положите эту книгу с моим телом в могилу. Я так долго, так верно служил, что господин, конечно, позволит схоронить меня, не велит бросить в рыбную сажалку ракам на корм. Василий Евлогид Василиад, это мой дед... Евлог...

От задремал над дощечками, не замечая, что никто не слушает пышных титулов сего генеалогического древа сибарита, ставшего с детства римским рабом.

Амальтея люлюкала своего ребенка; Тертулла стала брюзжать на Ультима за то, что тот, ухмыляясь украдкой на бесполезное чванство отца, рассыпал по полу из плоски только что вымытые и нарубленные старухой коренья.

Укачав накормленное дитя, Амальтея вышла из дома, кутаясь в холщевое покрывало.

– Как будто и не вернутся больше теплые, ясные дни, – думалось ей. – Вот, началась эта осенняя мокропогодь, холод, дождик.

Она пошла за новыми кореньями в сад сквозь господский дом, войдя одним крыльцом и выйдя другим.

Остановившись на лестнице садовой террасы, она медлила спускаться на дорожку, всю залитую дождем.

Было еще холоднее и сырее в воздухе, нежели вчера. Серое небо все кружилось и двигалось в виде низко нависших туч. Солнце не показалось даже и в виде вчерашнего красного диска без лучей. Серая хмурая тумана заволочла весь ландшафт окрестностей.

Площадка перед террасой выглядела грустнее всего остального, что было перед взорами молодой женщины, потому что в хорошую погоду это было местом веселья. Еще так недавно здесь жили господа, приезжавшие на праздник виноделов. На этих самых лавочках, сложенных из огромных камней, вокруг площадки, они лакомились гроздьями, пили мультс (виноградный сок) среди веселых разговоров, перекидываясь остротами, играли там в мяч.

Эти каменные лавочки стояли теперь пустые, мокрые от дождя; к ним и подойти-то не хочется, не то что сидеть на них. Все они полны налетевшей на них всякой дряни от ветра: сора, мочалок, листвы.

Слуг при усадьбе было так мало, что им некогда часто прибирать сад, комнаты дома, и все другое, не составлявшее неотложной надобности. Господин этого не требовал.

Пасмурная погода навела на Амальтею тоску. Южные люди вообще не терпят ненастья; оно несродно им, как нечто редкое. Амальтея не винила свою мать за то, что в последние дни она брюзжит хуже прежнего у печки, прибила Ультима, когда тот лазил чистить трубу, изломала свою прялку и швырнула в огонь.

Амальтея не откликнулась, услышав зов отца, и стала сходиться с террасы в сад.

– Дочь!.. А, дочь!..

Добродушно помахивая лопатой, Грецин шел осматривать огородные гряды.

– Амальтея! – позвал толстяк громче, – вишь, дождик-то какой славный зачастил опять!..

– Чем он славный?.. – нехотя ответила красавица, надувшись.

– Я уж подумывал, не полить ли мне редьку и огурцы, а теперь их сам Водолей из туч поливает... от лишней работы избавил меня... славно!..

Грецин широко улыбался; дочь поняла, что эта пасмурь кажется ему хорошею погодой от вчерашней попойки с приятелями. Она сошла к нему, направляясь тоже в огород за кореньями.

Страстный любитель всякой зелени, старый управляю-

щий главным образом заботился именно об этой отрасли порученного ему хозяйства и без господских приказаний его огород всегда был хорош, на славу.

Грецин искусно подбирал сорта овощей таким образом, что они составляли чрезвычайно красивые группы, успешно заменявшие цветники, в которых не было надобности для заброшенной усадьбы, куда господа наезжали лишь изредка.

В середине этих огородных клумб и рабатов высились подсолнечники, точно воинские щиты, огромные, круглые, и развевались метелки кукурузы наподобие цезарий из конских хвостов на шлемах; перед ними торчали частоколом крепости бобы, горох по хворостинам, а у самого края зеленый бордюр из петрушки, моркови, сельдерея, точно красной лентой римского знамени на минупуле, перевивался с красною ботвою свеклы.

Летний огород собран; в новом, осеннем, Амальтея заметила вялые экземпляры, оставшиеся с лета.

– Пора, отец, снять подсолныши и кукурузу! Не время им тут быть, – заметила она, – ведь в них нет зерен; это чахлые последыши.

– Так что ж? – возразил Грецин. – Красота от них!.. А вот мак... ему тоже пора отцвести, зерен в этих цветах не будет, а ведь хорошо поглядеть и на запоздалый.

– Хорошо... если бы было солнце.

Набрав, что ей было надо, Амальтея пошла не домой, а по аллее к калитке, ведущей на болото. Ей хотелось плакать.

Отец что – то кричал ей, но она не слушала. Она чувствовала себя несчастной. С самой той поры, как у нее родился ребенок, ей все становилось грустнее с каждым днем, а сегодня еще мать напугала ее возможностью очутиться в лапах оборотня. Виргиний, несомненно, уедет на войну; ему так сильно хочется сражаться, чтобы не попасть в жрецы, куда прочит его дед насильно.

У самой калитки Амальтея свернула в находившуюся там полуразвалившуюся беседку, где она в первый раз встрети-лась с милым. Там теперь она дала волю слезам, прижавшись лбом к колонне беседки, опираясь руками об грязный пар-пет, заграждавший нечто вроде провала в стене, которую не чинили.

Дождь лил еще сильнее; туман сгущался; далекая мест-ность за болотом была не видна; ветер качал тростник с меланхолическим шумом; это напомнило Амальтею сказку про уши царя Мидаса, о которых тростник разболтал всем сосе-дям.

Амальтея применила эту сказку к себе.

Никто до сих пор (уже два года) не знал, кого любит она; римская невольница не была обязана соблюдать пра-вил нравственности свободных женщин, если у нее не было формально данного ей в мужа человека. Ее никто не смел упрекать за то, в чем уличенная патрицианка была повинна смертной казни по домашнему суду.

Но все-таки и для рабыни были в этом смысле некоторые

ограничения. Власть отца была над нею ничтожна; господин, если снисходил к ее просьбе, мог кассировать все родительские запреты и насилия.

Амальтее слышалась в шуме тростника от ветра болтовня сказки:

– У царя Мидаса ослиные уши.

К этому примешивались опасения, как бы тростник не зашелестел и про нее:

– Контуберналий Амальтеи внук господского врага!..

Отцу с матерью будет тогда новое горе: господин жестоко высечет их за допущение этого, а самую Амальтею казнит, утопит в болоте.

Ей и самой, раньше казни, захотелось утопиться, чтобы не причинить нового горя родителям.

Она тоскливо глядела на бурую завесу тумана, сквозь которую уныло желтела и краснела осенняя листва.

ГЛАВА XV

Чванство старого Сибарита

Грецин, осмотрев огород, несмотря на проливной дождь, долго бродил по усадьбе и землям поместья. Уже вечерело, когда он пришел домой, пообедав и отдохнув в полдень у своего приятеля, старшины Аннея, в деревне.

Жена его грелась у печки.

– А! Тертулла!.. – воскликнул он, – зима близко.

– Стужа! – отозвалась старуха с оханьем, – Амальтея что-то сильно тоскует; дома ей не сидится; заметил ты это!.. Нехорошее что-то с нею творится.

Грецин взял со стола и откусил от огромной, жирной лепешки, стал с набитым ртом насвистывать без слов песню о гибели Сибариса, но на первой же строфе поперхнулся, сердито выругался и, заложив руки за спину, принялся молча шагать из угла в угол по атриуму, пока не встретился глазами с женою. Взгляд «Хищной Совы» смутил его; он отвернулся. Ему было стыдно, что жена и дети видят его почти постоянно хмельным, но он не мог отстать от этой привычки, находя в ней единственное средство утолить скорбь рабской доли.

Жена, соскучившись молчаньем, сама заговорила с ним.

– Стыдно Амальтею скучать! Чего ей не достало? Ох, эта молодежь!.. Все бы им представления разных кривляк смот-

реть да обнови покупать!..

– Быть может, оттого что господа уехали, – ответил Грецин как-то нерешительно, конфузливо, очевидно думая о другом.

– Ну, что ей до господ! – возразила Тертулла.

– Шума не стало.

– Ты думаешь, твой внук господский внук?

Она указала на ребенка. Грецин рассердился.

– Ох, уж только бы не господский!.. Ни царь, ни раб, это всего хуже. Арпин-то вон пропал без вести, убил его Фламинов внук да пустил молву, будто того леший пожрал по заклинанию Руфа. Фламин кичится этим чудом на весь Рим, – такой, мол, жрец могущественный, что боги его слушаются. Эх, эти соседи!.. Нет-то их хуже у нас во всем округе!.. Тошно мне вспомнить про них!.. жена, повеселим Амальтею, сделаем вечеринку.

– Полно глупости молоть!.. Недавно у нас тут топотня была, чуть не со всех деревень плясали, новое вино славили; мы с Амальтеей пол-то три раза мыли после грязи; натоптали твои гости всякого сора чуть не гору, орехов, жеваной конопли, тыквы, подсолнышей, виноградной кожуры... Амальтея сама не захочет твоих вечеринок, спроси ее, да и по такой слякоти кто пойдет, даже и звать – то совестно; того и гляди, паводок будет, придется отсиживаться от воды, завалив ворота, да и зачем зовут, спросят, в гости? Свадьба что ль у нас опять?

– Свадьба! – вздохнул Грецин со стоном, – свадьба у нас!.. Эх!..

– Все случилось оттого, что ты добрых людей не слушал; помнишь, Архипп что говорил?

– Что говорил... пожалуй, что и правда... Вераний оборотень, не человек... жаль!.. Какой парень-то услужливый был!.. Поглумился над нами и исчез, расплылся плесенью по болоту, бродит блудящим огнем, а в сухое время пылью по дороге рассыпается, расстилается, глаза запорошить норовит путнику и работнику.

– Нынче туманом взвился; Амальтея видела его утром на дереве, а ты, старый выдумщик, хочешь гостей звать; не близко им через нашу топь из деревни идти.

– Ходили же!

– Что же что ходили!.. В этакий дождь, в паводок, досок через грязь не настелешь, – уплывут они.

Тертулла взволновалась, сердитая до последнего градуса; веретено ее прялки упало на пол и далеко откатилось к стене; старуха его не поднимала, злобно разорвала и швырнула вслед ему нить своей пряжи. Шерстяная дерюга, в которую она куталась, сползла с нее; она теребила ее пуговицу, обрывавши петлю.

Грецин долго еще сновал по комнате от одной стены к другой, временами сердито откусывая от огромной лепешки. Наконец он кинул ее объедок, по обычаю, в печку, как жертву Ларам и Пенатам, и ушел в каморку, где находилась его

хозяйственная контора, подобие кабинета.

Там старый рустикан уселся к столу, заваленному всевозможными записками, семенами, дощечками с меловыми и углевыми каракулями, пучками колосьев, под которыми валялись книги этого чванного грамотея, писанные по-гречески, преимущественно мифологические сказки, до которых Грецин был страстным охотником, также сборники песен, составленные им самим понаслышке от соседей и бродячих импровизаторов, где добрая половина забытого, восполненная его собственной фантазией, отчасти перевиралась, переплетаясь с совсем другим мифом или песней, показавшейся ему за то же самое.

Ничто не могло так хорошо успокаивать чванного сибарита в трудные минуты жизни, как перебирание этого рукописного хлама, но сегодня это не шло на лад; он думал не о том, что читал, а о своей дочери, о ее ребенке. Он услышал, как она вернулась домой из коровника, где надзирала за доением, или из погреба, куда скотницы сливали молоко. Она пробыла там, как и каждый день, ужасно долго среди разнообразных занятий молочными продуктами.

Мать накинулась на нее с выговорами, подозревая, что она была не у коров, а в лесу, прося и приказывая открыть, кого она любит. Ее хладнокровие выводило из себя нервозную старуху хуже всех возражений мужа и сыновей. Амальтея на все ее брюзжание отвечала лишь двумя словами:

– Я невольница (*Serva sum*).

Чтобы успокоить мать, она заиграла на лире. Доносившееся снаружи из-за окон журчанье воды по желобам составляло меланхолический аккомпанемент ее музыке, похожей на звон триангла (инструмента из толстой проволоки, согнутой в треугольник).

Грецин видел из каморки сквозь дверь, как его дочь, стройная, высокая, прекрасная, стоит с лирой, глядя в окошко, где уже начали сгущаться сумерки.

– И чего ей глядеть? – думал старик, мельком выглядывая в окошко, бывшее в его каморке, – вишь, вон, щенок, и тот выглянул было из конуры да и спрятался опять, поджав хвост; и воробьи-то все от дождя попрятались, а кусты-то так и бьются один об другой. Вода с них ручьями льет. Должно быть, кадки полны у желобов, а Ультим сменить их другими не думает... Эх!.. Придурковат парень!.. Пойду, напому ему... И чего Амальтея все в окно глядит? Сплошная мгла; через забор, что дальше его, ровно ничего не видать в тумане, ни свинарни, ни пасеки.

И почувствовав, что слезы готовы навернуться ему на глаза, толстяк поплелся искать по дворовым зданиям своего младшего сына с напоминанием о кадках. Когда он вернулся, жена его сидела за ткацким станком; Амальтея читала ей печальным, сдавленным голосом. Тертулла взглядывала на нее, будто мельком, из-за работы.

– Что ты все грустишь, грамотейка моя? – спросил Грецин.

Амальтея не ответила, продолжая читать.

– Чего грустишь? – сердито накинулась на него Тертулла, – этот дождь хоть на кого тоску наведет. Мы не пьяницы; ты, может быть, видишь теперь на небе-то ясное солнышко, соловьи да розы тебе мерещатся... Хлюпают пузыри в лужах, а у тебя в ушах кукушки кукуют... Вчера, что сажа в трубе... небо-то саваном заволокло, точно земля умирать собралась.

В окошко просунулась снаружи кудрявая голова придурковатого Ультима.

– Отец, – окликнул мальчик, – что мне сделать с крышей на конюшне? Я измучился.

– Что еще? – недовольным тоном отозвался управляющий.

– Я уже с коих пор, чуть не пять раз тебе докладывал, что пора крышу эту чинить, а ты забываешь. Взгляни поди сам... Уж я набивал, набивал одни черепицы на другие, и землю заваливал, течет ручьем; я ведро в конюшне поставил.

– Ну и ладно.

– Ступай-ко, сибаритский архонт, со всем твоим чванством в конюшню! – усмехнулась Тертулла с ядовитой иронией болезненной раздражительности.

– Чего мне туда ходить! – возразил Грецин, еще хуже хмуря брови. – Напомни поутру.

Он уселся около стола на лавку, с тоскливым нетерпением дожидаясь времени ужина. Хмурый день тянулся невыносимо медленно.

Амальтея продолжала читать.

«— Тяжко стоная и за руку брата держа, Агамемнон так говорил и вокруг их стонала дружина: — Милый мой брат, на погибель тебе договор заключил я»...

— Что это ты читаешь? — перебил Грецин.

— Илиады не узнаешь! Боги бессмертные!.. — Заворчала Тертулла. — Я по-гречески едва половину понимаю, да и то интересно, а ты...

— Тьфу!.. Убирайтесь вы вон с этой Илиадой!..

— Это еще почему?

— Как почему, старуха?.. Погода и без того на всех тоску наводит, а вы еще тут «тяжко стенаете с этим Агамемноном»... Просто с ума сойдешь!..

Амальтея скатала рукописную книгу.

В окно снаружи снова просунулась голова Ультима.

— Отец! Прим из Рима вернулся, господские наказы привез.

— А!.. — отозвался старик. — Как это он умудрился пробраться через наше болото в такую темь?! Я думал, в деревне ночует.

— Ничего, говорит, доехал благополучно, его вишь, целая ватага рабов с фонарями до самых наших ворот проводила, попутчики.

— Чьи они?

— Соседские и фламينا внук младший с ними на свою виллу приехал.

– Виргиний!.. – радостно воскликнула Амальтея. – Да ведь он на войну должен был вчера уехать.

– Дед не пустил; один из слуг Приму сказывал. Внук стал собираться, а Фламин говорит ему: «Тебе хочется к этрускам, а поедешь гусей считать осенний приплод».

– Где же Прим?

– Лошадь чистит; больно грязью обдало; и на нем-то облика человеческого не видать, словно леший из болота вылез.

Амальтея порывисто ломала руки, что-то бормотала вполголоса, никому не понятное, смеясь сквозь слезы, и вдруг выбежала из дома, пропала бесследно во мраке осенней ночи, даже не накинув плаща.

– Что с нею? – испуганно спросила Тертулла.

Грецин не ответил, начавши без надобности размешивать кочергою горящие поленья в печке, потом прижал обе руки к груди, точно раненый.

– Я понял... понял...

Тертулла намеревалась ругать его, но слова замерли у нее на языке.

– Старик... Грецин... Василий Евлогид... что?.. Что?.. – бормотала она, едва выговаривая слова.

Управляющий указал на люльку.

– Наш внук сын господского врага, сын убийцы Арпина, – мрачно ответил он.

– Да ведь ее... когда узнают... казнят... меня... тебя... всех...

Широко раскрыв свои круглые совиные глаза, Тертулла пронзительно взвизгнула и упала.

Прим умывался около дождевой кадки, обрызганный грязью лошадиных копыт скакавших с ним всадников, когда мимо него легкой тенью мелькнула сестра, которую он не узнал впотьмах дождливой ночи, – видел лишь облик какой-то фигуры, бегущей неизвестно куда.

Молодой человек инстинктивно направился в садовую беседку, движимый чувством подозрения, что если мимо него мелькнул человек чужой, вор или шпион, он мог выбраться из черты усадьбы только через брешь в развалившейся садовой стене, о которой Прим давно напоминает отцу, что ее надо починить, но тот откладывал ради более нужных работ.

Издали Прим видел облики двух как бы обнявшихся фигур, из которых одна стояла по сю сторону бреши, помогая перелезть в беседку через развалившийся забор тому, кто был за ним, по ту сторону, но когда Прим туда дошел, эти фигуры исчезли, вероятно, услышав его шаги.

Кто находился за брешью, разглядеть было трудно, как и то, перелез ли он в беседку или нет; вдруг среди раздумья Прим услышал странный, глухой голос, казавшийся ему похожим на голос пропавшего Арпина, но точно исходящий из-под земли или маски:

– Я пришел предупредить вас, добрые люди, что вода в трясине поднимается; старайтесь успеть завалить эту брешь.

Прим испугался не так сильно ужасной вести, как появления убитого, а еще больше того, что ему показалось довольно ясно, будто через брешь из болотной трясины лезет в беседку чудовище, подобное медведю на задних лапах.

– Арпин... мертвец... Инва... леший... Сильва... – закричал он диким голосом. – Перед бедою!.. Перед бедой!..

И без ума от страха Прим убежал распорядиться защитой усадьбы от наводнения, какое случалось там не меньше трех раз в год.

Когда он пришел домой, семья оплакивала Тертуллу, умершую в этот вечер от разрыва сердца.

ГЛАВА XVI

Весть с поля битвы

После жертвоприношения Янусу войско выступило из Рима в поход дня через два.

Царь Сервий и главнокомандующий Эмилий Скавр уехали. Город очутился во власти регента Тарквиния, который как *praefectus urbi*, правитель, по сану был все равно, что царь, а по главным чертам своего характера – смелости, дерзости, гордости – считал себя выше Сервия, как сын его предшественника, царя Приска, и с первых же дней начал проявлять безграничный деспотизм, чему хорошие люди, конечно, не обрадовались.

Тарквиний игнорировал все советы, предписания и инструкции, данные ему Сервием, – делал, что хотел.

Дней 10 спустя после отъезда царя с войском улицы Рима, прилегавшие к центральным местам, наполнились народом, несмотря на дурную погоду глубокой осени и вечернее время.

Суматохи не замечалось; толпы граждан двигались тихо, ровно, спокойно, но все-таки там и сям выделявшиеся басистые голоса, стук тростей и деревянных подошв сандалий производили некоторый шум среди этого молчаливого, сосредоточенного на серьезных думах племени квиритов.

На форуме происходила толчея комиций, где на этот раз преобладал какой-то, несвойственный таким обычным сходкам граждан, тяжелый оттенок гнетущей монотонности в говоре прений.

Народные трибуны, эдилы, квесторы, вели себя как-то особенно, с излишней сдержанностью, как будто чего-то недоговаривая во всеуслышание; их речи были бесцветны, холодны, неинтересны слушателям, но тем не менее, римляне не расходились, как бы намереваясь протолковать на площади всю ночь.

Дело в том, что ждали вестей от царя; это парализовало все попытки к оживлению комиций.

В Сенате с важностью заседали старейшие лица государства, не уехавшие в поход по преклонности возраста, обязанностям занимаемых ими должностей, или иным причинам.

Среди них не было Фламина Юпитера, Руфа; он приносил вечернюю жертву в Капитолийском храме, самом главном святилище Рима.

Весть с поля битвы наконец явилась, странная, совсем неожиданная, будто войско римлян разбито наголову. Скарв и царь Сервий убиты, этруски уже идут на приступ к самому Риму.

Этот слух проник в храм Юпитера Капитолийского как раз в момент заклания жертвы.

Дикая молва переносилась в виде шепота быстро бормочущих голосов целой сотни присутствующих на молении, пе-

реносясь из ряда в ряд этой толпе, моментально забывшей про богомолье, ради которого эти люди собрались сюда, и лишь один из всех, сам Фламин, остался равнодушен, недоумевал, почему это все как-то странно, точно запыхавшись, стали двигаться, кивать, моргать, шевелить губами, оборачиваться к тем, кто стоит сзади, а многие бесцеремонно повернулись спиной к кумиру и жертвеннику, отправились вон в такой момент, когда это делать отнюдь не принято.

Святилище быстро опустело; немногие оставшиеся богомольцы стояли спиной к алтарю, перешептываясь между собой о чем-то, далеко не молитвенном; некоторые, опустив головы, напряженно прислушивались к этому шепоту, взвешивая правдоподобность слуха; кое-кто нетерпеливо поглядывал на Фламина, соображая, скоро ли он кончит служение, как будто оно тянулось чрезвычайно долго.

В храм доносился извне, с площади, глухой гул тысячной народной толпы, стоявшей в Капитолии.

Оставшиеся в храме интересовались, знает ли Руф о победе этрусков?

Жрец мог получить весть от стоявших с ним помощников, камиллов, но желтое, как восковое, лицо этого злого старого интригана, не выдавало ровно ничего.

Руф был истый римский патриций с железною волею, ничуть не похожий на говорливых плебеев.

Жестокий, мрачный, старый деспот в своей семье для домочадцев, Руф был величествен при исполнении обязанно-

стей жреца, сенатора, советника при царе, при царском заместителе Тарквинии, – везде он был одинаково хладнокровен, молчалив, важен, и никто из видящих его в общественном месте, не мог бы освоиться с тем, что этот самый старик дома бьет внучат по щекам, даже палкой по спине, бросает в них тарелками, а прислугу из рабов беспощадно мучит и убивает за всякие пустяки, как ему вздумается.

Руф теперь медленно, с обычной важностью произносил монотонным голосом нечто вроде эктении, – моление за Рим, Сенат, народ, за все вообще «дело общественное», «*respublica*», как римляне называли свое государство.

Пение заключительного гимна раздалось в совершенно опустелом храме, весь народ толпился вне его, по всем углам Капитолия.

Весть с поля битвы точно прорвала какую-то плотину, сдерживавшую народ.

Куда девалась вся тихая важность этих горделивых, степенных квиритов!.. Час тому назад смирные почти до апатии, теперь пешеходы на улицах текли и бурлили рекой; итальянская кровь взяла верх над искусственно привитыми традициями римского хладнокровия; на форуме кипел водоворот морских бурунов, где патриции, плебеи, пролетарии, иностранцы, рабы и свободные перемешались неразделимо.

Эта толпа необузданно жестикулировала и орала, как свойственно горластым обитателям страны жаркого климата с горячим темпераментом, пламенным воображением. Ни-

кто не стоял смиренно на одном месте; все сновали по площади, точно обезумев, и вопили даже со слезами, выражая всякие опасения.

Несмотря на сравнительную с Римом громадность Этрурии, ее племени никто из римлян никогда не боялся по причине изнеженности этого более культурного народа. Этрусков считали ничтожеством и никто не верил, чтобы они могли победить римского царя одиноко.

Причиной народного ужаса была молва, будто сделавшие набег этруски, лишь передовики огромного войска нескольких соединенных племен, враждебных Риму, что за этрусками следуют, также не очень страшные герники, рутулы, марсы, но дальше, в самом арьергарде надвигаются черной тучей могучие вольски и грозные самниты, составлявшие крепкое и обширное государство на республиканских началах.

– Этруски идут! – кричал какой-то высокого роста старик вроде кузнеца с лысой головой, на которой, подобно метелке, развевался единственный клочок седых волос.

– Самниты с ними! – вторил ему бочар с налитыми кровью огромными глазами.

– А префект-регент пирует! – перебивал их возгласы средних лет субъект, похожий на слесаря с серо-пепельным лицом, грязный, замасленный, он бил кулаками в заслонку, которую нес чинить, застигнутый, очевидно, врасплох на улице совершенно неожиданною вестью о победе врагов.

– Этруски, герники, и всякие другие! – вопил толстый ко-

жевник. – Пожри их, земля, проклятых!.. Понадобилось им набег делать, когда и без того кожа вздорожала от скотского падежа, а на готовый товар цены не прибавляются!..

– Сенат даст повышенную таксу на время войны, – успокаивал его стоявший подле фруктовщик.

У молодежи кипела кровь ненавистью к врагам без разбора племени и причин набега; многие кричали, что римские мечи и копья заржавели; пора их прочистить об вражьих тела; луки разошлись в стрелковых когортах; пращники отвыкли метко целиться, не имея желанной мишени.

Римлянам без войны жизнь казалась не мила.

Им мнилось, что очень долго тянется мирное время, потому что уже 3-4 года прошло со времен схватки с рутулами, да и схватка-то была неважная; царь Сервий дал отпор и все вражье полчище разгромил с первого натиска, так что и добычи было привезти нельзя, все враги тогда убежали.

Большой войны, на которой можно бы развернуть всю римскую мощь и доблесть, не было уже лет 20.

С тех пор, как отправили фециалов в Вейи уговаривать этрусков к покорности или объявлять им войну, молодежь рвалась драться, не зная покоя, кипела ее кровь молодецкая, головы бредили удалью, подвигами, славой.

Война – грустное и ужасное явление на земле, но она необходима: человечество не может жить без войны; если ее нет, народ сражается в чужих войсках или заводит смуту у себя дома.

В те времена знаменитыми, как солдаты-наемники, были спартанцы; они бродили отрядами по белу свету, проливая кровь свою за чужие деньги.

Царство еврейское разрушалось от внутренних раздоров; доблесть египтян и карфагенян вырождалась в меркантильный эгоизм отдельных личностей.

Рим только что начинал расцветать, развиваться, усиливаться... всему свой черед на земле, – таков Рок Истории народов.

ГЛАВА XVII

Децим Виргиний

У Виргиния, младшего внука Руфа, тоже закипела юная кровь, как у других, но он рвался на войну сильнее многих по той причине, что желал избавиться хоть ненадолго от гнетущего домашнего деспотизма своего мрачного деда, ласкаясь надеждой совершить какие-нибудь подвиги, дающие возможность подняться в общественном мнении о нем, улучшить свое положение, хоть в тогдашнем Риме трудно было придумать что-либо для устранения этой железной власти старших, – ни сан, ни ранг, ни родство женитьбой, ни обогащение, ничто не могло дать человеку самостоятельности, пока живы старшие; одна их смерть давала свободу младшим, делая похороны из печального торжества радостным, отчего впоследствии сложилась пословица «слезы наследника – смех под маской».

Пресловутая свобода древних римлян – миф; на самом деле ее не было, а там все угнетали друг друга, связанные деспотизмом всяких религиозных и национальных традиций, опасаясь равных себе, иногда возвеличенных ими же креатур.

Давивший двоих внучат и целую плеяду других родичей, Руф опасался царя Сервия с его любимцами, выставил для

борьбы с ними привлеченного к себе Тарквиния, за которого тоже не мог поручиться, что этот молодой регент не снесет головы прежде всех тому же Руфу, постаравшемуся о его возведении в этот сан.

Руф опасался и Клуилия, основательно подозревая, что при первой размолвке Фламина Януса способен сверзить своего друга, если не с Тарпеи, то с какой-нибудь иной кручи в пропасть, откуда нет выхода.

Такие наружно-могущественные патриции-деспоты все в совокупности боялись народа, – этой совершенно невежественной черни, крикливой, неугомонной, не подчинявшейся никаким законам, – черни знаменитой тем, что в Италии до наших дней ничем не могут усмирить ее буянство. Подавленная ненадолго строгими мерами, эта чернь при малейшей поблажке снова принималась делать смуты под всяким предлогом и стимулом, чтобы шуметь, волноваться и грабить.

Эта чернь в свою очередь боялась жрецов; стоило случиться солнечному затмению, несвоевременной грозе, вулканическому провалу почвы, и грозный буян-народ становился трусливее телят, готовый исполнить всякий приказ того, кто, полагали, может отвести кару разгневанных богов.

Простота, безыскусственность, несложной, стихийной религии Лациума отошла давно в область преданий.

Люди высшего класса римлян, еще не будучи не только атеистами, но даже и скептиками, продолжая искренно чтить своих богов, тем не менее, прилагали к практике разные спо-

собы религиозного влияния на народ, не имевшие настоящего отношения к религии, как действие к причине, вроде ложного истолкования гаданий, голодовки священников цыплят, чтобы они охотнее клевали зерно перед битвой и этим предвещали победу, молвы о чудесах, на самом деле не случившихся, составления легенд и мифов, даже комедий с переодеванием, подобных знаменитому явлению убитого Ромула его воинами.

В эпоху Тарквиния римские жрецы, не составляя обособленной корпорации духовенства, тем не менее, держались крепко в своем кругу, и каждый из них был тем властнее, чем он был ближе к народу светской властью, состоя совместно со своим саном и на гражданской службе судьей, сенатором, или военной – полководцем.

Римские жрецы этой эпохи были уже людьми железного духа, выработанного в них веками государственной жизни, составившейся при особых условиях возникновения этого города, развившегося в самостоятельное государство из соединения в одно место трех племен: рамнов, тициев и луцеров, отчего деление черни, состоявшей уже из многих частей, продолжало называться трибами, а их выборные старшины трибунами, хоть первоначальный смысл всего этого «триплеменного» названия совершенно утратился.

Руф, всем было известно, всегда поступал наперекор Виргинию, чтобы, как этот старый деспот выражался, сломить

волю мальчишки под власть старшего.

Он запретил Виргинию всякую мысль об отъезде на войну.

– Ты хочешь к этрускам, – говорил Руф, гнусая в такие минуты раздражения. – А я тебе приказываю ехать к Стерилле: отправляйся нынче же в деревню осенний приплод считать!..

Виргиний, скрепя сердцем, покорился и уехал на виллу, где провел несколько дней в тоске без отрады, потому что, точно нарочно, в тот самый день у Амальтеи умерла мать; красавице в горе было не до любви; она лишь однажды, урывком среди похоронных хлопот, перекинулась с любимым человеком несколькими фразами, причем они решили, в память умершей, как она желала, назвать своего сына Мет (страх).

Остальное время Виргинию пришлось нехотя считать гусят и поросят, телят и жеребят, ягнят и козлят, выслушивая сплетни Стериллы про тамошних поселян, которыми ничуть не интересовался, и ругню на Вулкация, доведшего Диркею до бешенства поддразниваниями возможностью для него стать царским зятем.

Когда Виргиний вернулся в Рим, Руф стал, по обыкновению, придирааться к нему.

– Ну, и что? Гусят и поросят, телят и цыплят много насчитал? – спросил он насмешливо.

Виргиний принялся давать отчет хозяйственного припло-

да, но Руф перебил его на первой же фразе.

– Приятно тебе было заниматься этим?

– Мне приятно заниматься всем, что ты приказываешь, – ответил юноша с напускною покорностью. – Я уважаю твою мудрость и не смею прекословить старшему. Благодарю тебя, дедушка, за то что удержал меня дома!.. Я был на войне еще в подростках, оруженосцем дяди Вулкация вместе с Марком; я тогда испытал много лишений боевой жизни в области рутулов, узнал, что такое война. Я рвался на этрусков, полагая этим угодить тебе.

– Стало быть, ты только разыгрываешь храбреца передо мною, а на самом деле ты трус?!

– Нет... но...

– Но ты обрадовался и засел в деревне, пришил свою тогу к юбке соседской невольницы...

– Ты позволил мне быть контуберналием Амальтеи.

– Позволил в надежде, что ты принесешь мне какую-нибудь пользу близостью к соседям, а ты что сделал? Ровно ничего хорошего в целых 3 года времени. Когда Марк ухаживал за этой гордячкой...

– Амальтея глядеть на него не хотела.

– Марку не она была нужна там; он только делал вид, будто влюбился, а на самом деле искусно расставил сети не девочке, а ее отцу и другим, кто был гораздо нужнее для нас.

– Но я до сих пор не вижу никакого результата интриг Марка. Турн враждует с тобою по-прежнему из-за погранич-

ных участков; царь решает все эти споры в его пользу...

– Царь... гм... ты скоро увидишь результат работы Марка.

– Результат работы Марка! – повторил Виргиний с горестным вздохом, неожиданно зарыдал и упал на колена к ногам Фламина. – Дедушка, заклинаю тебя перуном Юпитера, скажи...

– Никто не дал тебе права заклинать меня! – возразил Руф, с жестокою сухостью отталкивая внука ногою. – Никакие слова таких мальчишек, как ты, для меня, старшего в роде, не действительны. Чего тебе?

– Скажи, кто убил моего друга Арпина? Не Марк ли? Не это ли один из результатов его деревенских работ?

– Я уже тебе чуть не сто раз говорил, что ровно ничего не знаю. Я полагал, что Арпина убил ты, по праву кровомщения за гибель дяди.

– Дядя погиб от несчастного случая. Если бы я и решился убить моего друга тебе в угоду, то не мог бы его одолеть; Арпин был богатырь из богатырей. Дедушка, его убил по твоему приказу, если не Вулкаций, то разбойник, которого в деревне считают за Сильвина (лешего) Инву; он носит фантастический костюм чудовища, живет в какой-то пещере близ твоей виллы... Так или нет? Марк мог велеть ему...

– А если и так? Что же? Ты намерен мстить мне за любимого тобою холопа?!

– Нет, не намерен, но... Но это показывает, что тебе ничего не стоит разбить мое сердце. Я любил Арпина, ты погубил

его. Я люблю Амальтею... люблю ребенка, рожденного ею...

– И боишься, что я прикажу чудовищу утопить их в болоте?

Руф ехидно усмехнулся.

– Я умру тогда.

– Очень рад, что имею отличных заложников твоей покорности. При первом же слушании, помни это, при первом слушании...

– Что? Что?..

– Тит-лодочник откроет Турну, кого любит дочь его управляющего; господин, ненавидящий меня, безусловно казнит твою возлюбленную со всею ее семьей. Вот я тебя и поймал в мои сети, негодный! – заворчал Руф еще мрачнее. – Я всегда предполагал, что ты отъявленный трус. Скажите, помилуйте!.. Римлянин ли это говорит, Децим Виргиний?! Ты умрешь из-за бабы с ребенком!.. Если бы я не знал, что твоею матерью была родственница префекта Тарквиния, женщина, которую целомудрием одни весталки превосходили, я, право, подумал бы, что ты произошел от раба!.. Невольница ему дороже его деда, его родни, его сословия, самого Рима!.. У меня было множество детей от невольниц; я их всех приказал выкинуть, как ненужных котят, а ты плачешь о твоём ребенке, принадлежащем навсегда чужому господину!.. Римлянин!.. Плебс толпится и ревет в ужасе от воображаемого бессилия Рима пред несуществующими полчищами, взбудораженный ложной вестью; плебс орет,

винит и царя, и Сенат, за грехи перед богами, произносит всякие безумные, кощунственные молитвы, дает невыполнимые обеты, а тебе это все нипочем!..

– Я люблю великий Рим; я верный сын моего отечества, но сердце мое отдалось Амальтее навсегда; я не могу ее покинуть; если ты мне это прикажешь, умру.

– Нет, этого я тебе не прикажу, мой милый, потому что имею слишком хороший залог твоей покорности; помни, что при первом твоём послушании, все донесут Турну: Амальтея и ее ребенок умрут.

ГЛАВА XVIII

Рим обезумел!..

Положение дел в Риме с каждым днем становилось хуже, натянутее. Случалось, всадники останавливались среди улиц, не доехав к своей цели, заговорившись со встречными знакомыми; прислуга бросала корзины и ведра у колодезцев, забыв, что пора спешить на базар или в кухню, присоединялась к толпам бегущих слушать какого-нибудь крикуна, взгромоздившегося на ораторскую трибуну плебейских Комиций или даже просто на лестницу чужого крыльца, на тумбу, на бочку среди улицы.

В этой толпе мелькали случайно попавшие в нее патриции и, очутившись не в своей сфере, имели сконфуженное выражение, растерянно озирались, точно без опоры. Случалось, что их осыпали бранью, в сердитой на Тарквиния массе плебса, указывали на их чересчур нарядный костюм, выделяющийся среди грязных мастеровых и оборванных поденщиков, зачастую имеющих платье из одних овчин, доходящих им от колен до пояса, или холщевой, дырявой ветошки без рукавов, свалившейся с одного плеча от разрыва скрепы.

Виргиний иногда пытался проникнуть, какие мысли могли бродить в головах этих неразвитых, перепуганных людей? Что намерены предпринять эти Тиции и Сейи, подонки рим-

ского населения?

Улицы кишели ими с утра до ночи; они злобно глядели на всякого знатного, готовые избить, шатались от усталости, подобно пьяным, орали бессмыслицу, ругались, падали, стукнувшись лбом или носом об голову торопливо идущего встречного, садились на ступеньки лестницы, иногда хохотали.

– Рим точно обезумел! – думалось Виргинию. – Если таково начало регентства префекта Тарквиния, то каков же будет его конец?!

И юноша как-то невольно, инстинктивно подозревал, что нелепый слух о поражении войска, гибели царя, пущен именно Тарквинием, неизвестно с какою целью, желавшим посеять смуту в народе, страх, а внушил это ему несомненно Фламин Руф, ненавидящий царя Сервия, только делал вид, будто ничего не знает.

Виргиний видел, как Тарквиний производил осмотр городских укреплений, причем усилились боязливые возгласы черни:

– Герники!.. Марсы!.. Самниты!..

В просторных, безлюдных переулках мальчишки играли в войну, выкрикивая, как глашатаи, во все горло самые нелепые вести с воображаемого поля сражения, еще не понимая самой сущности этого дела, считая войну за что-то очень веселое.

Случалось, этот сумбур детского вымысла подхватывал на

лету без конца и начала какой-нибудь пьяный или глупый прохожий, добавлял цветами собственной фантазии и разносил по Риму, как самое достоверное известие.

На Форуме днем и ночью волновалось море голов кишевшего народа; большая часть этого плебса глазела на ход Комиций издали, откуда ровно ничего не было ни видно, ни слышно, кроме толкотни с ее неумолчным гомоном.

Народ спорил о том, когда Тарквиний поведет оставленных в городе воинов, как резерв, на помощь разбитой армии, сегодня же ночью или же не раньше завтрашнего вечера? Делать выступление последних сил днем префект, конечно, остережется, чтобы враги не напали, подведет их во мраке тайком к этрусскому стану и ударит врасплох. Надо торопиться: римляне зимой не воюют, потому что везде сплошной паводок; все реки из берегов выходят и гром гремит непрерывно; для действий им оставалось не больше месяца¹².

– Нечего мешкать!.. Нынче пойдут! – как непреложную аксиому говорил трактирщик.

Но купец-оружейник возражал, что опасно отправляться за *romaeium urbis* впотьмах; в случае внезапного нападения, не разберешь, где свой, где чужой, где друг, где враг.

– Что говорить! – подтвердил ткач. – Желательно, чтобы сами-то мы знали римские окрестности так хорошо, как их

¹² В эту эпоху римляне еще не умели устраивать лагерь, ходили на войну без всякого обоза и палаток.

этруски знают!.. Не возражай!..

И он замахал руками на трактирщика.

– У них везде лазутчики... тут, как тут, где не ждешь совсем, вынырнут... да!..

Он ткнул энергичным жестом указательный палец вниз.

– Из-под земли вырастут... да!..

– Отцы сенаторы это отлично знают, – заспорил трактирщик. – Я слышал, послан отряд ловить всех подозрительных людей по деревням.

– Нахватают полны тюрьмы невинных, лишь бы не сказали про них, что ничего не делают, а настоящие-то шпионы из-под рук вылетят, как воробьи, и сетью не прихлопнешь... да!..

И ткач направил свой палец к небу.

– Возьми – попробуй!.. Улетела!..

– Подлое племя эти этруски, хищные!.. Хуже их нет во всей Италии!.. Воры, разбойники, а уж как в чужой город войском ворвутся, – все перепортят, ни ложка, ни плошка, ни ветошка не уцелеет; чего взять нельзя или не заманчиво – переломают.

– Да и кровожадны они ужасно!..

– И женщинам беда от них... даже старух-то не пощадят, надругаются!..

– Кровь человеческая разнится, как и кровь животных... да!.. – принялся снова разглагольствовать ткач. – Благородного коня кровь или кровь свиньи, разве одно и то же? –

Нет!.. Так и кровь человеческая. Римская кровь... священная кровь квиритов, а этруск – собака... у него все влечения и поползновения гадкие, низменные... да!..

– Вдобавок, они еще и известные колдуны, – вмешалась старуха. – Во времена моей молодости, при царе Приске, в полночь на новолуние целая когорта, посланная на этрусков, стала оборотнями, разбежалась без боя по лесам и болотам, пропала неизвестно куда; воины стали медведями, волками, лягушками; говорили это те из них, кому много времени спустя удалось вернуться.

– Да и стрелой-то в этруска не попадешь, как ни прицелься, заговорены они все.

– И у них дурной глаз, напустят тумана, обморочат, отведают глаза, ну, и победят.

– А по-моему, братцы, этих этрусков напустил на нас казненный Арпин.

– Казненный?! Впервые слышу.

– Я тоже знаю, что у Скавра был не совсем законный сын от какой-то самнитки и куда-то девался, но чтобы его казнили, не слышал.

– Его казнил тайно фламмин Руф.

– Помимо царской воли?! Помимо приговора Сената?!

– По праву родового кровомщения, стало быть, и Сенат, и царь тут ни при чем; это не их дело.

– Арпин кого-нибудь убил?

– Именно... зятя фламина.

– Был какой-то слух, да стало не до этого и скоро забыли.

– Я сам знаю надвое: не то в цель метали, не то палицами. . . Арпин был всегда какой-то странный. . . одни говорили чудак, другие – колдун, а кое-кому мнилось, что и отцом-то его был не Скавр, а какой-нибудь мелкий божок, всего вернее Сильвин Инва, что живет в Палатинской пещере. Как бы там ни было, только так вышло, что оружие, брошенное Арпином вперед, само собою поднялось кверху на воздух, перелетело дугою через его голову, и упало прямо на зятя фламмина.

Виргиний, слушая эти речи простонародья, возмущался, зная, что все сказанное произошло не так, но молчал, уверенный, что таких людей не разубедишь ни в одной йоте их молвы, засевшей в голове тем крепче, что вымысел интереснее более простой правды. Виргиний молча слушал, не вмешиваясь.

– Арпина казнил фламмин тайно; Скавр не был при его умерщвлении, потому что он – отец его, он бы его спас, стал бы произносить на фламмина клятвы великие, запреты, – Скавр по сану выше фламмина, – он и главнокомандующий, он и великий Понтифекс, начальник всех жрецов, первый человек в Риме, даже царь должен во многом его слушаться, и таков закон. Казнить Арпина стало бы нельзя. Внук Руфа, – только я это слышал тоже надвое, – неизвестно, который, Вулкаций или Виргиний, – заманил Арпина в горы на охоту с собою, а там. . .

– Там и убили его?

– Фламин Руф совершил казнь по кровомщению на своего зятя, да только он не все знает, что и как надо совершать, чтобы убить такого, кто не совсем человек, как все, а немножко и смахивает на лешего... да и больно стар Руф-то... слышно, он позабыл проколоть труп медными иглами и забить кол в него перед опусканием в болото или в могилу. Кабы его бросили с Тарпеи или голову ему снесли, этого бы не надо, а такая казнь... так бы нельзя... оставили, – вот он и вылез из болота-то, сам стал лешим, Сильвином, и этрусков наслал... да!..

Ткач еще увереннее прежнего ткнул пальцем к земле, и все покачали головами, грустно понурившись.

– Экое, мол, диво дивное случилось!.. Сам фламин Юпитера не сообразил, что следует делать, когда леший ему ум помутил.

ГЛАВА XIX

Плебеи на Комициях

Виргиний приметил в толпе знакомого ему поселянина с озера, Тита-лодочника, нередко бывавшего в городе, и протолкался к нему поближе, слушать, о чем разглагольствует тот.

Ловкач, давно приманенный к дому фламина, делал вид, будто пытается защитить память Арпина от разных нареканий, доказывая, что сын самнитки не был ни изменником, ни колдуном, ни сыном лешего, а просто силач и немножко чудак, – стало быть, Руфу не было никакой надобности возиться с его трупом, совершив казнь; дух Арпина после смерти не может вредить Риму, губить любимых им людей вместе с ненавидимыми.

Сначала народ слушал лодочника равнодушно, как и всякую иную болтовню в толпе, но затем, по мере возрастания интереса, стало слышаться глухое, угрожающее ворчанье, перешедшее в громкую брань.

– Да замолчишь ли ты, хромая собака?! – резко выкрикнул молодой жрец Юпитера, подвластный Руфу. – Сам ты стоишь утопления в болоте вместе с изменником Арпином!.. Как у тебя горло не осипло хвалить-то его?! Не слушайте его, доблестные плебеи римские!.. Погибель всем от речей его!..

На минуту народ оторопел и все стихло около этого места, но потом снова пошел шум с бранью и угрозами, и на жреца и на лодочника; они пытались спорить, но крики становились с минуты на минуту неистовее, кулаки угрожающе поднялись перед общею свалкой. Медник бешено жестикулировал, размахивая кочергой. И Тита и жреца схватили дюжие, горластые крикуны, наступая им на ноги. Лодочник вырвался и влез на дерево около какого-то дома, но под ним подломилась ветвь и он упал, сбив с ног трех мастеровых, которые принялись вопить на всю площадь о том, что умирают. Воспользовавшись перемещением общего внимания на этих людей, Ловкач ускользнул за угол дома, но жрецу не удалось отделаться столь удачно: его дергали за бороду, разорвали на нем платье, наделили в изрядном количестве кулачными тумаками в спину.

Многие при этом из молодежи прыгали и визжали от радости, воображая, будто в лице этого ничтожного храмовника они колотят самого высокосановитого Руфа.

И как нарочно, фламин Юпитера в эти минуты появился на Форуме собственной персоной среди свиты помощников и рабов, которые расталкивали чернь для него.

– Тише!.. Молчите!.. – раздались крики. – Буяны, перестаньте драться!.. Руф идет.

– Ну, вот!.. Где?.. Где?.. А-а!.. В самом деле!.. Как раз на помине, тут как тут!..

Высокая фигура сакердота-фламина с его худошавым,

точно восковым, лицом, величественной осанкой, как всегда, произвела на чернь подавляющее впечатление; его противники, избившие храмовника-камилла, замолчали, как виноватые, стояли, понутивши взоры в землю, а сторонники закричали хвалу.

– Да здравствует мудрый Виргиний Руф!.. Виват!.. Молитесь о нас!.. Помяни нас у жертвенника... меня помяни, Петилия... Я защищал твоего слугу... И я защищал... Помяни Рулла... и Суллу... и Виниция...

Они махали шляпами, колпаками и платками, обнажив головы на проливном дожде... еще момент, – и весь этот плебс, отталкивая друг друга, кинулся к верховному жрецу целовать его платье.

Руф имел полное право сказать, что он вернется домой больше, чем от дождя, «мокрый от поцелуев всего народа»¹³.

Когда чествователи немного утомонились, Руф расспросил их о причине драки и выразил собственную уверенность, будто чернь избивала хромого камилла по наущению Скавра в отместку за справедливую казнь его сына.

Чернь долго бежала вдогонку за фламином, прося его о молитве, долго орала ему вслед всевозможные возгласы благих пожеланий и хвалы его «святости», пока его восковая фигура не скрылась в дверях Сената.

Ночью было просторнее, но толпа не вся разбрелась по домам; многие остались ночевать на площади или пришли

¹³ Этим впоследствии гордился Цицерон, в золотые дни своей славы.

взамен ушедших те, кто не был там днем.

На лестнице Сената сидел избитый камилл, растирая опухшую голову; к нему подобрались с утешениями и соболезнованиями разные личности из черни; он им неумолчно говорил всевозможные анекдоты, слухи, вести, будто бы лучше других людей известные ему, как приближенному фламина; большинство черни не замечало, что этот человек клонит все свои речи в пользу Тарквиния и Руфа, помогая их интриге.

По улицам медленно шагали стражники, но вообще по городу было довольно смирно, царила относительная тишина, за которую хвалили молодого регента, и скоро перестали ворчать на то, что он с войском еще не думал выступить в помощь царю против этрусков.

Драка на Форуме из-за лодочника и камилла, ставшая известной всему городу ее причиной, – хвалой и хулой памяти погибшего Арпина, – придала еще больший блеск славе его отца Скавра, и без того знаменитого, как хороший полководец, любимец царя Сервия.

Никто не додумался, что и это ничто иное, как одна из пружин злостной интриги, ведущей намеченные жертвы к гибели, по пословице «ornandum puerum tolendum» – «укрась юношу для унижения», т. е. «подбрось вещь, как можешь выше, чтобы разбить вдребезги».

Имя Великого Понтифекса загремело; римляне гордились

им, как полководцем, гораздо больше, нежели как главою всех жрецов, даже люди именитые, иногда завидовавшие военной славе Скавра больше, чем духовному сану, какой он носил в мирное время, рассказывали подросткам о его былых подвигах на поле ратном.

И чернь и знать одинаково недоумевала, что случилось бы с Римом без Скавра в такие-то и иные годы, когда он одних врагов храбро отразил, других удачно окружил и взял громадный выкуп, предписав мир, какой хотелось Риму, или сам сделал набег на соседские земли, отрезал значительные полосы в собственность римлян.

Руф торжествовал, произнося всякие клятвы, что Скавру больше не быть главнокомандующим, не быть и Великим Понтифексом, потому что зависть точила сердце Тарквиния, которого Руфу удалось заставить возненавидеть героя.

Руф дружески совещался о ходе своих интриг только с фламином Януса, как ему сгубить соперника, и по его внушениям, его помощники еще усерднее славили Скавра.

Римляне скоро узнали, что плохой слух с поля битвы – вполне ложная молва, пущенная неизвестно кем и с какой целью, – в войске все благополучно; Тарквиний не собирается вести резервы, потому что ни царь, ни Скавр не вызывали его туда, не нуждались ни в какой помощи.

Кому и для чего нужна такая ложь, римляне не допытывались, а лишь славили, боготворили Скавра, вследствие чего и зять его Турн Гердоний стал тоже личностью популяр-

ною, даже, пожалуй, отчасти героической, наделенный всеми доблестями от народной фантазии еще щедрее, чем был в действительности.

Тарквиний рвался и метался бешенством злобы от этих слухов, особенно от того, что римляне все чаще и смелее звали его Гордым, – эпитет вовсе не лестный начальнику такого свободолюбивого народа.

– Скавр, – говорилось в народе, – при его горячности способен удивительно хладнокровно и быстро соображать все обстоятельства происходящего боя, осады, отступления.

– А уж характером-то как искренен, простодушен!..

– Истый римский воин!..

– Старый ветеран, закаленный в походных невзгодах; даже воевать зимою ему ни по чем... этого не мог делать даже победоносный Тулл Гостилий, который разрушил Альбу.

– Что за Тулл?! Скавр – это сам Ромул!..

При каждой семейной жертве римляне и в храмах и в домах прибавляли молитву за старого героя. Имя Скавра было у всех на устах, затмило и царя Сервия и других его сподвижников. Тарквиния едва замечали, а на Руфа чуть не плевали, как на заведомого врага героя.

Старый фламин тайком ехидно усмехался себе в бороду, щура глаза с таким выражением, как бы стараясь скрыть свою мысль:

– Как вы, добрые люди, моего врага ни славьте, а уж меня-то вам не сверзить!..

И он еще чаще прежнего повторял Тарквинию свои угрожающие предостережения самым мрачным шепотом:

– Старайся, царевич, прислушиваться к болтовне плебеев на Комициях!.. Не игнорируй народный говор!.. Помни, что зять Скавра – потомок рутульских царей.

– Турн потомок, а я сын... сын царя, недавно властвовавшего в Риме, – возражал Тарквиний, разгораясь злобой.

– Твой отец был этруск, а их теперь, благодаря набегу, ненавидят; не упusti благоприятных обстоятельств, не то борьба наших партий обострится и не отвратишь беды!..

ГЛАВА XX

У семейного очага

Префект-регент Тарквиний, обуреваемый всевозможными опасениями, от угрожающих таинственных нашептываний фламينا, сделался таким угрюмым, что жена не запомнила с его стороны ничего подобного с самого детства, и никакие ласки этой, не сильно любимой, но все-таки и не противной ему царевны, никакие ее выпытывания, советы, мольбы, не разгоняли ни на минуту черной тучи с горизонта его ума.

Сквозь все другие дела, Тарквинию день и ночь думалось о величии Скавра и Турна, его зятя, думалось и о песне Диркеи, слышанной у храма Януса.

Поддав влиянию ее господина, Тарквиний искренно счел завыванье полоумной Сивиллы за предвещанье, обращенное именно к нему, а не к Вулкацию, об отношениях с которым Диркеи он не знал или успел забыть.

– Кто эта изменница, разлучница, о которой она пела? Кого следует казнить, сверзить в ров, на Тарпеи? Кого пожрет Инва?

В это тревожное время у жены его родилась дочь.

Подобное событие у римлян сопровождалось некоторыми безусловно обязательными обрядами.

Тотчас после появления на свет, находившаяся при этом пожилая родственница принесла дитя в атриум (главную залу дома) и положила к ногам отца, сидевшего перед очагом.

Это была роковая минута для римского ребенка: – отец имел право оттолкнуть его ногою, и тогда принесящая женщина спрашивала, не желает ли кто из присутствующих, созванных для этого родных и чужих особ, усыновить его.

Иногда так поступали нарочно, по предварительному приглашению с отцом.

Так Эмилий Скавр принял к себе третьего сына Турна и тот, по усыновившему его деду, стал Эмилием, но с отцовским прозвищем Гердоний.

Если же не получалось согласия на принятие в иную семью, дитя топили в ванне тут же, при свидетелях, чтобы патрицианские дети не попадали, отвергнутые, ни в рабство, ни в пролетариат к лавочникам.

Тарквиний поднял дочь и снова отдал родственнице, которая радостно понесла ее к матери для первого кормления грудью.

На восьмой день после этого родные и друзья опять сошлись в атриум Тарквиния; каждый из них принес в подарок новорожденной маленькую вещицу из золота, серебра, или слоновой кости. Отец собрал все эти миниатюрные вещицы¹⁴, надел на шею новорожденной и, подняв ее над ог-

¹⁴ Такое ожерелье называлось *Crespundium*. Относительно описываемого обряда у римлян в разные эпохи были разные обыкновения: иногда это происходи-

нем очага, громко нарек ей имя:

– Арета Тарквиния.

Бывшие тут в качестве гостей жрецы, простирая руки, благословили девочку, желая ей всего лучшего, поздравляли счастливого отца вместе с родными, а потом, отдав дитя, Тарквиний повел гостей за пиршественный стол.

Так начало жизнь дитя, положенное в колыбель, убранную розами.

Солнце ярко светило в детскую Ареты; прилетевшие на зиму с севера в Италию птички весело приветствовали новую римлянку пением, порхая мимо окон в саду. Счастливая мать кормила ее грудью, мечтая о ее будущем, слушая предсказания служанок и родственниц о славе ее красоты, ума.

– Она будет олицетворенная добродетель, что значит по-гречески имя «Арета», будет хорошею женою, как царица Арета, имя которой отец выбрал из любимой им книги Гомера, и получит в приданое этрусский город Арреций, который царь Сервий теперь осаждает, без сомнения, успешно возьмет, покорит Риму, и подарит своей первой внучке, названной созвучно с местом его войны.

Этруски выбрали для своего набега осеннее время в той надежде, что римляне, не зная еще искусства устраивать лагерь, должны будут непременно возвратиться на зиму домой.

ло без откладывания, тут же, при рождении ребенка; иногда имя нарекалось, а креспундий вешали после, или наоборот. В измененном виде такой обряд нами описан в рассказе «По геройским следам» эпохи республики Рима.

Набег мог остаться вовсе безнаказанным, а в виду позднейшей мести, этруски приобретали около трех месяцев зимнего времени для приготовления к отпору.

Но расчет их не удался.

Сделав вид, будто намеревается осадить Аретий, Сервий внезапно повернул войско и ударил врасплох на другой город Церу, взял его приступом так быстро, что жители не успели опомниться, схватил тамошнего начальника и послал скованного в Рим.

Разорив Церу, Сервий обложил Вейн.

Римляне, ободренные успехом, охотно сражались без малейшей мысли о возвращении домой, несмотря на холодную погоду.

Редко случалось им вести войну в такое время года.

Оставшиеся в Риме граждане, не склонные к толкотне и болтовне форумов и комиций, проводили дождливые, ненастные вечера дома, греясь у своих очагов.

В один из таких вечерних часов, уложив малютку-Арету спать, царевна Туллия-Добрая пришла в атриум своего отделения, взяла красивую, украшенную резьбой и инкрустациями, прялку, и села с супругом, не смея прервать его дум.

Сумрачно было лицо Тарквиния!.. По его сдвинутым бровям и собравшимся на лбу морщинам, замечалось, что должность правителя казалась ему не легкою; он что-то обдумывал, не зная, чем решить.

Гордый человек ни у кого не хотел просить совета. Опе-

ка Юпитерова Фламина надоела ему; он даже избегал с ним встреч, а жреца Януса возненавидел за попытки давать наставления; они оба стали ему не нужны и поэтому противны, лишь только он достиг одной из своих намеченных целей.

Долго царило молчанье и тишина прерывалась только пощелкиванием тонких пальцев царевны, сучившей пряжу.

Наконец она не вытерпела гнетущей скуки и спросила мужа:

– Друг мой, я вижу печаль и заботу на твоём лице, а сердце шепчет мне что-то недоброе; скажи, нет ли дурных вестей от батюшки?

– Отец твой здоров, – ответил Тарквиний угрюмо. – Меня не это заботит.

– Что же?

– Скажу... боги повелевают уважать женщину, ставшую матерью, матроной семьи, повелевают иногда советоваться с нею. Я презираю гордых жрецов и сенаторов; они до сих пор глядят на меня, как на мальчика; особенно Руф и Клуилий задались мыслью помыкать мною ... ах!

Тарквиний со злостью скрипнул зубами.

– Ах!.. Если бы я начал уничтожать врагов моих, то первыми уничтожил бы этих двух Фламинов, зашил бы их в мешок, чтобы кинуть в воду.

– А я думала, что ты глубоко считаешь их.

– Да... почитал... но... я почитал их, считал моими самыми верными покровителями до сегодняшнего утра; Руф и

Клуилий поссорились между собою, и друг друга выдали мне прямо головой. Чем я был для этих людей!.. Какие клеветы они возводили на меня друг другу!.. Что они замышляли!.. Отец твой прислал из Цере знатного пленника, вождя бунтовщиков. Верховные жрецы поссорились, дают мне противоречивые советы, а сам я не знаю, как поступить. Отец твой ничего не сказал перед отъездом: считает ли он этрусков за простых непокорных подданных, или же смотрит на них, как на врагов-иноземцев. Если пленник бунтовщик, следует его казнить; если же он предводитель армии свободного неприязненного народа, международное право велит уважать его в плену, держать прилично его происхождению и должности. Целый день прошел, а я ничего не решил.

– Люций Тарквиний, – ответила жена, не зная, как решить дело, – решай его по завету богов и житейского опыта: благость приятнее бессмертным; злой человек охотнее казнит, добрый – милует. Пощади жизнь пленника!.. Мой отец добрый человек; милость ему всегда приятнее крутой расправы.

– Это Авфидий, зять Турна, муж сестры его.

– Тем более причин к его пощаде.

– Руф, чего я от него не ожидал, советует послать в стан, спросить мнение царя, ходатайствует за своего личного врага, явно против себя, единственно из-за ссоры с Клуилием, чтобы поступить ему наперекор, а тот напоминает мне мой обет, данный перед войною, при открывании Янусовой двери: первого пленника принести в жертву Инве.

Тарквиний умолк и еще угрюмее задумался с глубоким вздохом, не понимая, что он лишь опутан новой сетью интриги коварных жрецов, которые подстроили теперь свою мнимую ссору нарочно, чтобы заставить его поступить по их желанию, зная, что никакие мольбы Руфа не склонят Тарквиния к его врагам, против которых тот его сам же настроил неумолимо.

ГЛАВА XXI

Очаровательная злодейка

Занавес одной из дверей атриума распахнулся и на ее пороге явилась Туллия-вдова.

Гордо выпрямившись, подошла она к очагу и остановилась перед зятем, освещенная ярким, красным, как бы зловещим, пламенем.

Поверх ее белого платья, на ней была длинная теплая кофта из толстой шерстяной ткани с широкими рукавами, вышитая по белому разноцветными узорами, так как обязательный 30-дневный траур царевны по мужу кончился.

Ее роскошные волосы не заплетены, а лишь свернуты на затылке и прикреплены золотою гребенкой; взглянув на них, можно было подумать, что это лежит свернувшись ядовитая, черная змея.

Над белым, широким лбом царевны сияла при блеске очага золотая повязка; на шее и груди сверкали в несколько рядов крупные топазовые бусы самой чистой воды. Повелительно подняв руку, Туллия строго сказала:

– Тарквиний, не щади изменника!..

Царевич взглянул на сестру своей жены, и с ним произошло то же, что случилось когда-то с Брутом.

Взор Туллии вдовы обладал тою, недоступною челове-

ской науке силой, которую в наше время называют магнетизмом, а в те невежественные времена считали сверхъестественною властью волшебных чар или благоволения богов.

Взор красавицы Туллии подчинял ей волю каждого, взглянувшего на нее в такую минуту ее вдохновения.

Глаза Тарквиния, как прикованные, остановились на ее лице.

Не дав времени ни ему, ни своей сестре возразить, Туллия продолжала:

– Раб ты, Тарквиний, или правитель Рима?.. Если раб, покоряйся моей слабодушной сестре; если правитель – прояви твою волю, могучую, беспощадную власть, карай изменников!.. Зачем ты, сестра, просишь милости пленному!.. Почему он тебе дорог в ущерб славе твоего мужа!.. Я знаю: ты видела, как его вели в темницу; ты узнала этого Авфидия; ты была с ним знакома у жены Турна; его красота возбудила твою жалость; ты желаешь спасти ему жизнь, потому что он молод... Сестра, ты влюбилась в Авфидия; я это подозреваю давно, а теперь убедилась. Ты не любишь ни твоего мужа, ни самого Рима. Ты изменница; ты достойна быть брошенной с Тарпеи вместе с этим Авфидием... Ты та, о которой пела Сивилла у храма Януса.

– Да, я видела Авфидия в доме Турна, – ответила добрая царевна со спокойною рассудительностью, – но я не питала к нему чувство сильнее, чем уважение к каждому хорошему человеку. Сивилла не могла петь обо мне; это была бы ложь

в устах чародейки.

– А-а!.. Изменник кажется тебе хорошим!..

– Тогда он изменником не был, и сам мой муж не знает, считает ли его таким царь.

– Вместо того, чтобы укреплять мужество, поддерживать энергию Тарквиния, ты его сбиваешь с толка. Я на твоём месте дала бы славу Риму и мужу; весь мир узнал бы обо мне!..

Она кинула на сестру и на зятя взор, полный горделивого презрения, и вышла, напевая узнанную ею от Вулкация импровизацию Сивиллы:

– Скоро измена.

Кару найдет...

Тарквиний любил ее давно, как подругу детства, похожую на него самого характером; теперь он влюбился в нее, как в красивую женщину, забыв, что это сестра жены его.

Он побежал за Туллией, призывая ее в порыве внезапно вспыхнувшей безумной страсти, но дверь ее отделения оказалась запертою, и ему не отперли, сколько он не стучал.

Вернувшись назад, Тарквиний застал свою жену плачущею горькими слезами от незаслуженного оскорбления сестры, и страсть внушила ему гнусный предлог к ее погублению; он сделал вид, даже сам себя уверил, будто ревнует ее к пленному этруску, зятю Турна, будто верит клевете вдовы на родную сестру.

– Завтра же дорогой тебе Авфидий будет непременно казнен! – сказал он жене и несмешливо и злобно.

Несчастливая царица упала перед ним на колена, говоря:

– Что я тебе сделала?!

Удар ногою в грудь был ей ответом взбешенного человека.

Деспот убежал в сад и стал там декламировать с пафосом предвещанье Диркеи.

Как солнышко в полночь

Не даст вам лучей, -

Разлучница сгинет

От острых мечей...

Скоро измена

Кару найдет...

И ярость и страсть кипели в его груди до того сильно, что Тарквиний стал перемешивать в своей памяти заладившиеся ему стихи; как голодный волк, ищущий добычи, жертвы, на которую мог бы излить все, что чувствовал от накипевшей злобы, Тарквиний бродил по саду, не замечая погоды.

Он свирепо клялся принести жертву, призывая Инву, вне служащего его интересам спасенного негодяя, а настоящего духа, лешего, Сильвина, обитающего в недрах земных.

Бушевал вихрь, обычный в период осенних гроз, столь частых в Италии; Тарквинию мнилось, что с этим вихрем злой дух носится над ним и слушает его обеты на погибель хороших людей Рима.

Тарквиний обрекал подземным богам и духам в жертву самого царя Сервия, своего названного отца, неблагодарный, бессовестный змееныш, пригретый на доброй груди.

Молнии разрезали вокруг него черные тучи; гром грохотал, повторяясь отголосками в горах по пяти раз и больше при каждом ударе, точно небо гневалось, а темные силы ада ликовали, проникая в замыслы злодея. Небо грозило ему карой, напоминая стих Сивиллы:

*Скоро измена
Кару найдет.*

Но темные силы заглушали голос совести, обещая дивную награду за исполнение гнусных решений, рисовали ему образ красавицы, шептали:

– Эта женщина будет твоею... решишь!.. Решишь!..

До слуха правителя дошли чудные звуки: Туллия-вдова пела с аккомпанементом греческой лиры. Это была страстная, вакхическая песня, призыв любви, то грустный, то нежный, то какой-то дико-насмешливый.

Она взяла в другом тоне несколько громких аккордов; ее пальцы быстро забегали по звонким серебряным струнам, с искусством виртуозки, и любовная песня перешла в военную балладу этрусков.

Туллия пела о славе рода лукумонов Тархнас (Тарквиниев), о славе их предков, о мщенье врагам.

Тарквиний, иззябши и измокши под дождем, не замечая дурной погоды, долго простоял под окном Туллии, хоть и ничего не видал, потому что ставни, заменявшие оконные рамы, были заперты изнутри.

Возвратившись домой, он заснул, но что это был за сон?! Тяжелый кошмар в различных видах. Он беспрестанно просыпался и, встав с первыми проблесками зари, ушел из дома.

ГЛАВА XXII

Тарпейская скала. – Конец карьеры Вулкация

Гроза к утру прошла, но резкий ветер дул с моря и было холодно; зима наступала.

На вершине скалы Тарпейской в Риме стояла толпа народа, а у самой пропасти был виден Тарквиний, не выспавшийся, голодный, злобный против всего света. Звучным голосом он грозно сказал ликторам, указывая на молодого безоружного этрусского воина, стоявшего между ними:

– Поставьте его на колена!..

С незапамятных времен в Риме никого не казнили без суда и защиты.

Ликторы с недоумением переглянулись.

– Поставьте на колена бунтовщика, да преклонится перед властью правителя!.. – повторил Тарквиний еще грознее.

Ликторы, не смея ослушаться, схватили пленника, но храбрый, горделивый этруск оттолкнул их прочь и смело сказал:

– Не преклонюсь перед беззаконием. Давно ли в Риме казнят без суда? Кто повелел это?

– Царь Сервий вручил мне власть при верховных жрецах и сенаторах, – объявил Тарквиний. – Я представитель Рима;

что я делаю, то делает Рим. Ликторы, исполните!..

Ликторы насильно поставили на колена и держали пленника. Тарквиний обратился к нему:

– Ты вождь восставших, а всякий изменивший Риму да будет казнен на Тарпеи!.. Все боги виляют, что эта казнь справедлива, заслужена тобою. Да послужит твоя смерть врагам на устрашение, римскому народу на славу!..

Не успел жестокий гордец кончить речь, как раздались отчаянные крики, повторяемые народом:

– Стойте!.. Стойте!..

Взоры всех обратились назад, к отлогому месту Тарпеи, по которому спешно всходил воин в полном вооружении, отчаянно махал руками и кричал.

Тарквиний узнал своего заклятого врага Турна Гердония.

– Я вестник Сервия, – сказал этот благородный человек, подойдя к Тарквинию. – Царь повелел мне сказать римскому народу и тебе, правитель: этруски покорились, принесли раскаяние, склонились к ногам царя, выдали подстрекателей и всю добычу с вознаграждением за погром римских деревень. Сервий простил виновным их набег и повелевает тебе отпустить на свободу пленного Авфидия.

– Ты это устроил со Скавром в ущерб пользы государства, к бесславию царя, потому что пленник – муж сестры твоей, – ответил Тарквиний, меряя сказавшего взглядом холодного презренья. – Личные отношения тебе важнее пользы отечества...

– Вовсе не то, правитель, я...

– Или ты делаешь это в угоду моей жене? Она вчера про-сила за него; она его видала в твоём доме. Я знаю все: вы хотели втереться в родство к царю; ты подучивал Авфидия сватать царскую дочь, когда она была девушкой, за кого-то в Церы.

– О, правитель!.. Кто так ужасно оклеветал нас!.. – вскричал скованный Авфидий, потрясая цепями.

– Сервий царь в войске; я царь в Риме, пока Сервия здесь нет, – заговорил Тарквиний еще злобнее, – я милую и каз-ню, кого и как хочу. Ни ты, ни Турн, ни сам Сервий мне не наставники. Я сын великого Тарквиния Приска; дух отца не терпит рабства сына перед Сервием, сыном невольницы. Ликторы, исполните приговор!..

Обняв пленного, Турн заспорил.

– Ни цари, ни правители никогда не попирали римского права...

– Молчи, недостойный! – закричал Тарквиний уже в пол-ной ярости. – Ты, уроженец Ариция, недавно принят в чис-ло римских граждан; не тебе толковать о праве!.. Ты прави-тель или я?.. Если я, то и ответственность на мне. Наши вер-ховные фламины Тулл Клуилий и Виргиний Руф вопрошали богов о их воле и повелели мне первого пленника, кто бы он ни был, принести в жертву Инве в Палатинской пещере. Ликторы, исполните ваш долг!..

Казнь совершилась.

У подошвы Тарпеи стояли приносители, ожидавшие жертву.

Категорически, даже отчасти грубо, отказав Турну в выдаче тела его родственника для погребения в фамильном склепе, они уложили изуродованный, разбившийся труп Авфидия в роскошно убранную корзину и понесли к Палатинскому холму, где находилась пещера знаменитого лешего.

Фламин Руф с важностью выступал впереди процессии, покрытый желтою тканью, с венком зелени на голове; за ним Клуилий следовал в таком же одеянии; обоих их вели под руки знатнейшие люди из их родни.

Эти верховные жрецы дулись друг на друга, искусно делая вид, будто готовы зарычать, вцепиться в физиономии, скусить носы, как жадные собаки из-за упавшей между ними лакомой кости, благоволения регента, но в глубине души поздравляли друг друга с удачей, началом их общего торжества.

Плачущий Турн не пошел на это незаконное жертвоприношение; он лишь издалека, с вершины Тарпеи, следил взором за процессией, а потом уехал в деревню, решив устроить там Авфидию похороны фиктивные в своем родовом склепе, принести туда и поместить меч, подаренный ему этим этруском в знак братской дружбы.

На одном из дорожных перекрестков, вблизи своей усадьбы, Турн увидел толпу поселян, среди которых неистово кривлялась полоумная Диркея, где-то долго пропадавшая

без вести.

Народ притих, ожидая, что она скажет нараспев прорицанье. Полоумная девушка принялась высказывать свое горе: она пропадала из деревни долгое время, потому что ревность мучила ее. Она следила за Вулкацием в Риме, пошла вслед за войском в Этрурию.

Там она нашла Вулкация тяжело раненым, лежащим на поле битвы у г. Церы и, как много раз прежде, привязалась, требуя клятву честью римского патриция, что он не женится на овдовевшей царевне Туллии, если бы дед или царь велел ему это.

Она была тайно подучена на это Тарквинием, влюбленным в очаровательную злодейку. Не зная подведенной интриги, Вулкаций отказался наотрез, предпочитая честную смерть на поле битвы за Рим спасению клятвой, исполнить которую он не может, подвластный почти до рабства и регенту и Руфу.

Тогда Диркея заколола его отравленным кинжалом.
В конце причитаний об этом она пела народу, как...

*С горячим лобзаньем,
Терзаясь страданьем,
Неверное сердце
Своею рукою
Пронзила ему,
А месяц и звезды
О нем зарыдали*

*И слезы потоком
Дождя проливали,
И скрылись надолго
В ненастную тьму.*

Народ слушал эти завывания Сивиллы со страхом, считая иносказанием, но Турн догадался, что Тарквинии или Руф внушил ей убить Вулкация, овладевшего какою-нибудь их особенною тайною и оттого ставшего опасным для них.

Полоумная девушка совершила это, не догадываясь, что предполагая выполнение одной собственной, личной мести, она делает внушенное ей другими.

